

РОМАН
ШМАРАКОВ

Немного

ЧУМЫ



Роман Шмараков
Немного чумы

«Издательство Ивана Лимбаха»

2026

УДК 821.161.1-3 "20"
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4

Шмараков Р. Л.

Немного чумы / Р. Л. Шмараков — «Издательство Ивана Лимбаха», 2026

ISBN 978-5-89059-600-0

Книга представляет собой сборник пестрых рассказов за четверть века. Здесь есть история о том, как один человек путешествовал по своему дому и ушел очень далеко; о том, как один мертвец приехал повидать жену; о том, как одна статуя звонила в колокольчик и что из этого вышло; история о монахе, за которым ходил дьявол, и о лошади, которая останавливалась, где ее не просили. Роман Шмараков (р. 1971) – современный российский писатель, поэт, переводчик. Доктор филологических наук. Лауреат премии «Большая книга» (2021).

УДК 821.161.1-3 "20"
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4

ISBN 978-5-89059-600-0

© Шмараков Р. Л., 2026
© Издательство Ивана Лимбаха, 2026

Содержание

I		6
	Сократ в Пиерии	6
	Ловцы	9
	Преисподняя Феликса	11
	Карёб, или Повесть о пироге с дамасскими сливами	14
II		24
	Чудо святого Григория Великого	24
	По безводным местам	36
	Римский папа	46
	Конец ознакомительного фрагмента.	51

Роман Шмараков

Немного чумы

Две сельские Нимфы, пляшущие под сению мирт, которую соединяет любовь венцом приятностей, украшают поприще жизни. Одна из них бросает цветы; другая возобновляет свежесть оных; между тем Гений времени в полутени картины, пуская пузырьки на воздух, делает горькую, но справедливую сатиру на пляску и на плач.

В оформлении обложки использован фрагмент картины Йоса ван Красбека «Искушение святого Антония» (1650)

© Р. Л. Шмараков, 2026

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2026

© Издательство Ивана Лимбаха, 2026

I

Сократ в Пиерии

После того как «Архелай», поставленный на сцене пиерийского Диона с невиданным до сих пор усердием и пышностью, завершился и всё – рукоплескания, одобрительные крики и суждения в публике – свидетельствовало о благосклонности, с какою был принят спектакль, а избранные от царя мужи, чье высокое положение и образованность пользовались общей известностью, наградили хорега и актеров первой наградой в состязании, совершив напоследок благодарное возлияние гению Еврипида, хорег и Сократ отправились в одну городскую корчму, расположенную на отшибе, где докучные беседы посторонних, любящих толковать с людьми известными, не могли бы им помешать. Сократ ожидал нескольких фессалийских знакомых, обещавших быть к самому празднеству, и, думая провести вечер за приятной беседой, они покамест не пили много и говорили о прошедшем спектакле; однако хорег, в радостном возбуждении переживая все обстоятельства своей победы, был точно во хмелю и словоохотлив не в меру. Вспоминая, как был почтен Еврипид, он воскликнул, что лучшего вина не следует жалеть, чтобы выразить благодарность человеку, которому при его жизни все они были обязаны отрадой мудрого общения и еще после его смерти – а тому почти десять лет, как он умер, – счастливо пользуются уроками его вдохновения. Сократ заметил на это, что его всегда удивляло, что ту силу и охоту, какие Еврипид обращал на трагические произведения, которыми в Македонии справедливо гордятся, он не уделял комедии, видимо не любя и чуждаясь ее, так что ему кажется, нет ли здесь той односторонности души, которая обращает на себя неприязнь богов. Это возмутило хорега, и он возразил с горячностью, что свою любовь к Еврипиду, словно провидя подобные сомнения, боги свидетельствовали зримым для всех образом, о чем и Сократу довольно известно, и что заслуженно трагедия любима молодежью, всему предпочитающей доблесть и славу и всегда внимающей тому, что научает возвышенному. Видя, что хорег задет не на шутку, Сократ отвечал ему с серьезностью, что, несомненно, «Архелай» вещь безукоризненная и он почти уже знает ее наизусть, так что еще немного и, приведись ему попасть в плен или потерпеть кораблекрушение в чужих краях, – он сумеет добыть себе пропитание и почет, исполняя на память лучшие места и благодаря Еврипида как своего избавителя. Да и сам хорег, обязанный ему ежегодными победами, конечно, присоединился бы к этой благодарности. Речь Сократа имела тон примирительный: еще с недоверчивостью, ожидая от знаменитого собеседника той иронии, которую он так искусно умел затаить, потешаясь над друзьями, хорег все же согласился с ним, неохотно промолвив, что, конечно, куда отраднее было бы победить, будь в соревновании вторые и третьи участники, – но все-таки, по его мнению, лучше чувствовать себя обязанным справедливости царя, чем народной благосклонности, прихотливой которой, как Сократу известно, трудно что-либо сыскать. Хозяин корчмы из своего угла слушал их с почтительным вниманием. Сократ было заметил на это, что у него на родине был один знакомый меняла, который утверждал, что справедливость не всегда одно и то же, но разнится от случая к случаю; но хорег, с его непокладистым нравом, гнул одно, что ростовщиков у них не поощряют, гнушаясь их низменным занятием, обсуждать же распоряжения, происходящие от царя, он почел бы неприличием и неблагодарностью, которая, как Сократу известно, худший среди пороков. Впрочем, самому Сократу, не связанному обязательствами, подобает думать, как ему заблагорассудится.

Тут Сократ, улыбнувшись, заметил хорегу, что их беседа, которую, казалось бы, само место обязывает быть упрямой и неуступчивой, как осел на горной тропе, превратилась в одни обоюдные любезности, так что они с изумительным благодушием уступают друг другу во всех

спорных вопросах, – не объяснит ли он, отчего это происходит? Хорег, как знаток в подобного рода вещах, недолго думая высказался, что это от музыки, нечувствительно влияющей на душу, и они обратились к нанятой ими флейтистке, которая на своей двойной флейте, действительно, играла мелодию на лидийский лад. Вид у девушки был спокойный и кроткий, и Сократ заметил, что, пожалуй, такая игра ей наиболее пристала; однако ж хорег, по роду занятий знавший в округе большинство людей, способных искусно играть, рассказал ему, что обыкновенно эта девушка в самом деле кротка, но в вакхических хороводах, когда они скачут, как лани, по дебрям и когда Дионис, как говорится, поднимает в них пламя яркой сосны, она разительно переменяется, так что в ее упоении есть что-то поражающее и ужасное, и в то время, памятуя печальные рассказы о бедствиях, связанных с этими играми, лучше ее и ее подруг обходить стороной. Видя, однако ж, что Сократ собирается, остановив девушку, получше расспросить ее об этом, хорег сказал ему, что мало кто из них помнит потом бывшее, так захватывает их беспмятство, которое в самом деле выше человеческой природы и как бы причастно божественному. Тут содержатель корчмы, следивший за их беседою, счел возможным вмешаться и подробно рассказал, что ее отдали учиться флейте, потому что в детстве она была дурнушкой, а теперь учиться лире, упуская твердое ремесло, вроде бы поздновато: да и не прогневишь ли этим богов, которые, однажды поставив человека на место и как бы привыкнув к его служению, не радуются, когда человек бросает его и ищет другого. Но чтившего их боги и по смерти отмечают особым знаком, как отметили они великого Еврипида, когда в могилу его ударила молния. Сократ заметил, что видел его могилу, и ему кажется, что она расположена в очень красивом месте, на большой прогалине у дороги, под старым дубом. Хозяин прибавил к тому, что множество людей, приходящих из разных городов, желают приблизиться к ней, – но, как священное место, могила обнесена теперь оградой и соблюдается с величайшим тщанием.

Но тут, прервав их разговор, с шумом вторглась в корчму веселая компания фессалийских друзей Сократа, которые, видимо, вовсе не позаботились сохранить себе трезвости на длительную беседу. Завидев их кроткое времяпрепровождение за одним кувшином вина, пришедшие со смехом воскликнули, что верно говорят поэты, Пиерия блаженная страна, и чтит ее Эвий, учреждающий здесь свои таинства. Видя их легкомысленное настроение, Сократ, впрочем, и сам с усмешкою на лице предупредил их, чтобы в этой стране они судачили о богах поосторожнее – ведь это все равно что пересказывать сплетни о царе рядом с его тронem – и когда будут на рынке сбывать свое прокисшее вино, пусть не клянутся бессмертными именами, а приберут что-нибудь безопасное. Как бы привлеченная его словами, над склонами Олимпа из густых лесов вышла луна, озарив божественную гору и ее непроходимые дебри своим таинственным сиянием. Кто-то из фессалийцев предложил, если Сократ не против и если все попросят у него разрешения, в особо торжественных случаях и при наиболее удачных сделках клясться его демоном, ведь это он выручал его во всех трудностях и так счастливо привел его сюда. Сократ начал было говорить, что демон всегда выручал его, когда он находился в областях, чуждых рассудительности, – но, заметив, что хорег смотрит на него с недоумением, спросил, не обидел ли его чем, и тот ответил, что высокомерием и предубеждением кажется ему теперь говорить в таком духе о Македонии, давно вспоминающей времена варварской простоты как седую древность; Сократ же, смеясь, возразил ему, что под областью, чуждой рассудительности, он понимал отнюдь не Македонию, а, скажем, поэтическое творчество, о котором известно, что в нем важнее всего некое чудесное наитие, или попытки угадать будущее, которое выйдет из того или другого решения, – а мирная торговля, пусть даже это будет торговля фессалийцев, достаточно управляется обычным благоразумием, чтобы ей искать еще покровительства демона. К тому же, добавил Сократ, с улыбкою глядя на фессалийцев, его демон, видимо, хоть и божество, но низшего рода, и в близком соседстве с высшими богами он никнет и как бы смущается, а потому поэтическое творчество для него закрыто, если, конечно, не считать им ту причастность восторгу, которую переживаем мы, слушая произведения тра-

гических поэтов и дифирамбы Пиндара. Услышав это, старший среди фессалийских купцов и самый рассудительный меж них вымолвил, что чудно ему, как можно сторониться поэзии в стране, наиболее предназначенной для творчества на поприще Муз, – ведь, как говорят, здесь они родились и это место выбрали для своего пребывания, и совсем в недавнее время все они, бывающие в этих краях, видели живущими здесь и трагика Агафона, и Меланипида, и Зевксиса италийца. Но его степенная речь была прервана хозяином корчмы, который, сам будучи под хмельком, услышав знакомые имена, тут же ввернул, как они бывали у него и оставались довольны и что он не находит слов славить свое время, когда его страна знаменита гостеприимством, любовью к мудрости и строгим надзором за справедливостью, так что люди, знающие толк в образованности и празднествах, стекаются в Дион, более чем эпироты в Эфиру Феспротийскую, где, как говорят, при входе в Аид стоит прорицалище мертвых, если позволительно такое сравнение. Это неожиданное замечание показалось всем слишком метким для корчмы, точно подаренным корчемнику, по его благочестию, кем-то из близких богов, и вызвало спор, в каком смысле можно сравнить поэзию с царством мертвых: ведь вдохновение, заметили фессалийцы, что в оракулах, что в поэтах – одно и то же. Хорег, подумавши, важно присовокупил, что сами законы Аида, где душа пребывает в чистоте, питаясь божественным в меру своего разума, суть то же, что законы поэзии и всякого восторга; но хозяин, опять ввязавшись в беседу, добавил, что не только состязаться, но и жить поэты, прославленные среди современников, остаются здесь навеки, а на родине у них, как бы в порицание государству, которому ревность не дала достойно почтить человека, любезного богам, остается пустая гробница. Не считаешь же ты, спросил Сократ, что любезен богам всякий, кто умел угодить публике? Нет, отвечал за хозяина вдохновленный спором хорег, – но кто умел жить в подлинной добродетели, тому уделом любовь богов и бессмертие; а первое умение, необходимое человеку добродетельному, – достойно управлять государством и домом, и таковое благоразумие самому Сократу, без сомнения, не покажется мнимым.

Старший из фессалийцев заметил, что, кажется, хорег говорит им о царской добродетели, на которую намекал еще и их радушный хозяин, подлинно живущий в славное время, если в своей корчме он может видеть знаменитых людей из всех государств просвещенного мира. Фессалийцы подтвердили, что и у них на родине все говорят, как выгодно и безопасно иметь дела с Македонией, воистину чтущей эллинские добродетели ради них самих и более, нежели сами эллины. Тогда польщенный хозяин, а за ним и хорег предложили, пустив большую чашу по кругу, почтить божественный гений царя, как днем был справедливо почтен гений Еврипида, и фессалийцы живо с ними согласились, благо хозяин, расщедрясь, обещал отыскать такое вино, какого никому не давал. Общее веселье, оставя разговор о понятиях, закипело с оживленной силой; а поскольку вина в этих краях не принято разбавлять, да и хозяин счел бы это себе обидой, еще прежде полуночи Сократ оказался один между полусонных друзей, из которых ни один не мог связать с ним приличную беседу. Он еще хотел поговорить с девушкой, заинтересованный рассказами о ней, но поскольку она оказалась неразговорчива, как это обыкновенно бывает с флейтистами, то, оставя ее, решил было прогуляться до могилы Еврипида, но по темноте, в которой скрылась заходящая луна, по тому, как умолкли цикады и издали поднялся тяжелый шум Фракийского моря, понял, что того гляди соберется гроза и находиться рядом с могилой было бы небезопасно.

Ловцы

Владиславу Николаенко

Когда я заговорил о том, как Вергилий в царстве теней припоминает людям их проступки, на мои пылкие рассуждения Петроний улыбнулся и спросил:

– Ты помнишь о человеке, что купил, да еще за полную цену, землю под стенами Рима, в ту пору как стоял на ней Ганнибалов лагерь? Так же точно мы относимся к смерти. В областях, ей подвластных, мы распоряжаемся своевольно. Мы наполняем их всеми вымыслами своего беспокойства, не имея ни терпения подождать, когда увидим эти края своими глазами, ни мужества принять смерть в ее простодушном явлении.

– Любознательность, – отвечал я, – нам дана порокою нашей божественности; не хочу смеяться над нею, ибо нахожу в ней и утешение, и причину для гордости.

Тогда Петроний спросил, помню ли я историю о Сулле и сатире; я сознался, что не помню, и он рассказал ее.

Отправив сенату письмо, где исчислял свои победы над внешними врагами и обиды от римских неприятелей, Корнелий Сулла, оставивший Афины, где принял посвящение в таинства, через Фессалию и Македонию спустился к морю и, намеренный переправиться, подошел к Аполлонии, чтобы разбить лагерь подле мыса Нимфей. В лесах его, славных неистощимыми потоками огня из утесов, и был, как говорят, схвачен спящий сатир, точно такой, каких изображают живописцы, и приведен к Сулле, который хотя и пребывал в беспокойных гаданьях, что ждет его в Италии, однако же не утратил любопытства к вещам, попадающимся не каждому. А так как сатир дичился людей, как пойманный зверь, Сулла велел привести флейтистку, из тех, которых всюду возил за собою, и наказал ей, севши перед сатиром, играть мелодии нежные и спокойные, чтобы понемногу приучить его к человеческому обществу. Но стоило ей начать, как сатир, оставленный с флейтисткою наедине, бросился и, если бы на ее крик не вбежали воины, сторожившие у входа, совершил бы над ней насилие без всякого стыда. Сулле это лишь позабавило, но философ Калликрат, бывший в его свите, принялся просить у него как особой милости позволения провести некоторое время с сатиром: на вопрос же Суллы, зачем ему это, отвечал, что если флейта, способная лишь разнеживать или вводить в исступление, поднимает в этом существе вождение, сродное всем животным, то человеческая речь, возможно, прояснит в нем разум, как в человеке, встающем от сна или беспамятства; что упустить такой случай было бы величайшею небрежностью и что все усилия надо приложить, чтобы, так сказать, разговорить самую природу, попавшуюся им в руки, и выпытать некоторые из ее тайн. Сулла, благоволивший Калликрату, разрешил ему, однако с тем условием, что с ним в шатер войдут и будут при нем неотлучно два солдата, на случай если в сатире проснется его необузданная ярость. Калликрат с неохотою согласился. В шатер он вошел, одетый в простой темный плащ, воинам велел вести себя смирно и не греметь оружием, а сам, севши перед сатиром, сказал ему по-гречески, чтобы тот ничего не опасался, ибо ему не желают зла, а просто хотят спросить кое о чем: кто он таков, рожден ли в этих краях или пришел откуда-то и чем здесь живет. Сатир, некоторое время внимательно следивший за речью философа, внезапно закрыл лицо руками, отвернулся к кожаной крышке шатра и оставался недвижим, покамест Калликрат, втуне расточив все ласки и увещеванья, не принужден был выйти, раздосадованный неудачей. Из-за этого среди людей, окружавших Суллу, поднялся спор, насмехался ли сатир над усилиями Калликрата, давая ему понять, сколь самонадеянно взялся тот пытать природу, или же испугался блеска оружия и человека, твердо и неотрывно глядевшего ему в глаза.

Тогда и сам Сулла решил поговорить с сатиром, уповая на свою удачливость более, чем на философское красноречие. Всечасно занятый мыслью, сколь опасны окажутся для него Карбон

и младший Марий (ибо к прочим врагам не имел ни уважения, ни страха), он надеялся, что сия добыча послана ему судьбою и что гений, присущий этой породе сельских божеств, уверит его в победе или остережет от больших опасностей, а кроме того, поднимет дух в войсках, растревоженных будущей войной. Вечеру полководец с немногими друзьями вошел в шатер, где держали сатира, и, обращаясь к нему через переводчиков, назвал свое имя и сказал, что, освободив эти края от обид и тягот, возвращается теперь на родину, чтобы там заняться тем же, и хотел бы знать, что ему предстоит и увенчаются ли его предприятия успехом.

Но покамест Сулла с ним беседовал, воинов его охватил внезапный ужас, прокатившийся от одного конца лагеря до другого. Люди выбегали из палаток безоружными, сшибая в темноте друг друга, и кричали, что враг подходит, что он уже одолел ров и что надобно бежать квесторскими воротами. Заслышав смятение, Сулла бросился вон, выхватил факел у стражника и пустился вслед растревоженному солдатскому рою, хватая за руки, называя по именам, одних пытаясь образумить, к другим обращая гневные речи, а на иных подымая меч. Лишь к утру улеглось волнение, не столько благодаря усилиям Суллы, сколько потому, что люди отрезвились и заметили, что все кругом спокойно, кроме них самих, и угрозы для лагеря нет. Видя, что это дело не связано ни с каким умыслом и что сами его участники от смущения не знают, куда смотреть, Сулла ограничился тем, что, собрав войско на сходку, отпустил несколько шуток о прошлой ночи, велел всем крепиться, ибо скоро они получают воздаяние своим трудам, и усилил охрану лагеря. С досадой узнал он, что сатир воспользовался общей сумятицей, чтобы выскользнуть из шатра и пропасть бесследно; однако новые заботы его отвлекли: неожиданно появившийся подле берега большой флот встревожил всех и вновь обратил помыслы к италийским делам. Эти суда шли к апулийскому побережью на подмогу Гаю Норбану, двигавшемуся с легионами из Кампании, и, если бы не благовременное попечение Суллы о дисциплине и охране лагеря, сулили ему большую опасность.

Здесь Петроний замолчал, расхаживая по библиотеке.

– Говорят, – прибавил он, – что сатиры не хуже самого Пана умеют заставить «ум трепетать от страха», по выражению нашего Горация. Не знаю, искал ли хитрый божок лишь случая ускользнуть из тяжелой руки полководца или хотел напоследок внушить ему, чтоб не дерзал знать больше своей меры и лучше занимался тем, что ему пристало.

– Зевесовы кости всегда хорошо ложатся, – отвечал я пословицею.

Тут пришли объявить нам, что ужин готов.

Преисподняя Феликса

В городе Фано жил некогда дворянин по имени Феликс, старинного рода и всеми уважаемый. Он имел одного сына, не достигшего еще шестнадцати лет, именем Антоний, о котором пекся с неусыпным прилежанием. Однажды за церковной службой Антоний заметил красивую девушку и влюбился без памяти, так что ни о чем другом не думал; узнав, какой она семьи и где живет, он нашел случай ей открыться и по немногу времени торжествовал, видя страсть свою небезответной. В отрадах первой любви они однако же были принуждены вседневно изощрять остроумие, изобретая способы видеться без чужих глаз. На одном из таких свиданий, явившись своему встревоженному любовнику бледная и заплаканная, Амата (так ее звали) поведала, что беда сошлась над их беспечной головою: что родители думают выдать ее за Дезидерия, прелыщенные славою сего знатнейшего горожанина и гордые при виде настойчивости, с какою он добивался руки их дочери. Свой рассказ Амата ежеминутно перебивала слезами и увереньями, что ввек не отстанет сердцем от Антония, но лучше уйдет с ним в гроб, чем быть выданной за другого. Кровь закипела в Антонии; он решил отбить подругу у сластолюбивого старика. В пособники своему замыслу он взял друга своего, молодого Гвидона, который при объяснении, состоявшемся меж ними, посылал надменному Дезидерию самые крепкие проклятия, ценя возможность досадить знаменитому согражданину более всех удовольствий, ему знакомых. В монастыре, прилежащем к городским стенам, Антоний нашел одного престарелого монаха, именем Лаврентий, который, тронувшись его пылкой, заносчивой исповедью, обещался венчать их с Аматою втайне от родителей и вступиться святостию своего сана в те неприятности, кои неизбежно произойдут для Антония, когда дело раскроется. Ободренный благосклонностью, с какой глядели на него обстоятельства, Антоний назначил уже вечер, когда надлежало Аamate тихо покинуть дом и с ним соединиться; однако же слуги Антониевы, посланные вперед, при дверях ее дома столкнулись с двумя слугами Дезидерия, отряженными к родителям Аматы с каким-то подношением; вспыхнула ссора, схватились за оружие; один из слуг Дезидерия пал на ступени, обливаясь кровью; дом всполошился, кликнули городскую стражу; буянам закрутили руки и повели. Антоний, по случайности замешкавшийся в дороге, издали видел драку и плачевные ее следствия, – в замешательстве бежал и незамеченный вернулся домой; однако Гвидон был схвачен в гуще сражения и отведен в городское узилище, где, оставленный за крепкою стражею, должен был ожидать решения своей участи. Поутру город наполнился пересудами; указывали на Антония как несомненного виновника пролитой крови, обсуждали и умножали злодейство его несбывшихся замыслов. Следовало ждать, что градские законы, согласившись с общим мнением, поднимутся и схватят юношу в несговорчивые когти. В сей крайности Феликс решился прибегнуть к средству, его самого ужасавшему. Между его доверенными людьми был один, сведущий в лекарственных и иных травах; к нему обратился встревоженный отец, прося втайне составить снадобье, способное погрузить человека в сон, неотличимый от смерти, и травник исполнил его желание. Антоний, принявший из рук отца чашу с вином, должным его успокоить, упал на пол, не вымолвив ни слова, и посланные в дом Феликса приставы застали скорбящего отца над бездыханным телом. Распоряжения о похоронах были сделаны; негодование и пугливая мстительность расступились, давая дорогу смерти, и приутихший город впоследствии пожалел своего гражданина, не умевшего пережить бурь молодости. Выказав безутешное отчаяние над пустою гробницею, Феликс объявил о намерении удалиться на время из города, где все напоминало о поразившем его бедствии, в отдаленную деревню; взяв с собой нескольких слуг, на коих мог положиться, оставил за спиной городские стены и ввечеру добрался до морского берега, никем не посещаемого, с большою пещерою, чье жерло было скрыто густым тростником. Явившись на место, заранее избранное, Феликс велел устроить ложе в глубине пещеры и упокоить на нем бесчувственного

Антония, затем отпустил слуг, пригрозив страшными карами за болтливость, и в черном платье сел подле сына, наблюдая его забвение. Когда же Антоний, очувствовавшись, протер глаза и увидел наместо родного дома каменистый сумрак вертепа и какого-то человека, в котором не узнал отца, Феликс, нахмутив брови, обратился к юноше с грозною речью: он-де умер противу небесных определений, не снеся, что в безрассудстве своем не преуспел, и по справедливости препровожден в преисподнюю; однако же, во внимание к молодости его и из уважения к его отцу, такового бесчестья не заслужившему, пожаловано ему было не в тяжелейшие круги ада, где безысходные муки, но на самом краю, в вечной памяти о том, как он напрокудил, и бесплодном сокрушении; а что до того, кто ему, Антонию, говорит об этом, то я-де твой ангел, к тебе приставленный при жизни и после смерти обязанный вседневно тебе напоминать, как ты искушал Бога и по какой Его милости сколь еще мало за то терпишь. Антоний выслушал его с тем изумлением, какое каждого наполняет при услышании своего посмертного приговора, и покорился безусловно, чему весьма обрадовался Феликс, рассчитывавший, что простодушие сына весьма поможет его хитрости; что его взгляд на вещи, отделенные от него мнимой гранью гроба, станет яснее и спокойнее; что однообразие занятий и ежедневные увещевания, производимые небесным посланником, уймут буйство крови и охладят прежние привязанности – а между тем грозы, вызванные его беспутством, рассеются, и образумившийся молодой человек, узнав истину, воротится домой безопасно.

Между тем как Антоний жил мирной жизнью на уединенном берегу, а Феликс опекал его, повременно отлучаясь в свое поместье, откуда подвозили ему на берег съестные припасы, соперник Антониев, Дезидерий, явился в дом Аматы свидетельствовать почтение невесте и нашел в ней враждебность, отчаяние безутешное, жаркие слезы по покойнику, однако не смутился и приступил к правильной осаде. Он участил посещения и добился до того, что Амата преклонила к нему слух. Наконец она увидела, что Дезидерий не так уж стар и отвратителен; мало-помалу прислушалась к его речам и полюбила их; нашла в нем мужа брани, умеющего поведать о своих приключениях, не вызывая скуки; мужа совета, с тонкою проницательностью и обширным знанием людей; светского человека, с любезностью веселой и свободной; вздохнула напоследок о тени бедного Антония, вспоминая о нем с признательностью как о былом удовольствии, и примирилась со своим браком. Родители, видя ее перемену, себя не помнили от счастья и Дезидерия почитали волшебником. Он же между посещениями невесты, ждавшей его с каждым разом нетерпеливей, не упустил навеститься в монастырь: сыскал Лаврентия, в тревоге смотревшего, с какими упреками приступит к нему муж сильный и гордый, – рассыпался в похвалах его житию кроткому и благоразумному, просил, как высшего дара, чтобы его, Лаврентия, десница совершила предстоящий Дезидериев брак, и без труда добился согласия у монаха, тем уж в глубине души довольного, что не вышло на свет божий опрометчивое согласие, которое дал он Антонию и за которое не уставал себя ругать бессонными ночами. Властям же города Дезидерий представил, что вины Гвидона в этом прискорбном происшествии еще сомнительны; что слуга, раненный в толкотне, с Божиею помощью поправляется; что городским уложениям нечего взыскивать на юношеской горячности и что сам он, Дезидерий, менее всего хотел бы омрачать торжество своей свадьбы зрелищем утоленной мстительности: коротко сказать, ходатайствовал, увещевал и добился наконец до того, что Гвидон отпущен был на свободу как человек, ничем не запятанный. Вскоре после этого Дезидерий явился к нему в дом, дабы свидетельствовать искренность своего расположения, и на каждое неприязненное движение Гвидона, в котором дышала не усмиренная тюрьмою запальчивость, отвечал с такой непринужденной любезностью, что нако-нец тот, побежденный и очарованный обхождением Дезидерия, с которым впервые познакомился накоротке, счел бессмысленным длить ненависть к Дезидерию из одной привязанности к его сопернику, конечно позабывшему свои страсти во гробе, и прекратил жертвы умершей дружбе, чтобы предаться душой человеку, которому считал себя обязанным и с которым что ни день сходилась все более.

Между тем Антоний, обитавший в пещере, начинал скучать своею загробною жизнью, изо дня в день видя одного ангела, иногда отлучавшегося по делам, и слушая лишь шум пустынной зыби и птичий крик над нею; а приводя себе на ум, что такое состояние терпеть ему вечно, совсем унывал. Однажды, когда Феликс, как часто случалось, отлучился в деревню, Антоний помыслил, что доселе не видал и самых ближайших мест и что не худо бы ему прогуляться из любопытства. Он вышел на берег и пустился наудачу; перебрался через речку, прошел какую-то деревню, где напоили его молоком; места казались ему знакомы, но, поразмыслив, он рассудил, что в мире мертвых всё подражает былой жизни, так должна там быть и тень самого Фано, стены коего уже перед ним поднимались. Всеми почитаемый за умершего, Антоний шел неузнанный по городским улицам, дивясь тому, как здесь пекутся, чтобы изобразить все подробности земного бытия. Случай привел его сюда в тот самый день, как совершалась свадьба Деидерия и Аматы. Сначала шум народной толпы поразил его слух; он пошел вслед течению толпы, и наконец открылось ему зрелище торжества, при котором дух в нем едва не пресекался: он увидел Лаврентия, маститого старца, среди стройных хоров поднимающего персты, дабы осенить сей союз благословением неба, Гвидона, приемлющего кубок из рук Деидерия, чтобы пить здоровье жениха и невесты, увидел и Амату в пышном уборе, при плесках толпы, стыдливо отвечающую на поцелуй Деидерия.

Увидев все это, Антоний повернулся и опрометью пустился обратно, не останавливаясь, пока к вечеру не достиг до своего убежища. Завидя Феликса, в тревоге обыскивавшего окрестности, он упал ему в ноги и, обнимая его колена и называя милым ангелом, заклинал не отсылать его отсюда, поскольку теперь ему доподлинно ведомо, что все его ангельские речи были чистой правдой и что это самое спокойное место в преисподней, ибо видел он края, где людей немилостиво мучают, принуждая делать то, что им горше смерти. Так он говорил, а Феликс глядел на него в великом смущении, не зная, как теперь выбраться из своей затеи, устроенной с такою дальновидностью.

Кареб, или Повесть о пироге с дамасскими сливами

Марку и Елене Керзнер

I

По всей Азии славились справедливость и могущество вавилонского царя. Слышавшие о них не верили; видевшие не находили им равных. Но еще более славны были статуи на одной из площадей Вавилона, представляющие все города и провинции, подвластные вавилонскому царю, каждая с колокольчиком в руке. Лишь только в каком-либо уголке государства зачинался мятеж или рождалась мысль о заговоре, статуя на площади, олицетворяющая возмущенную область, поворачивалась лицом в ее сторону и звонила в свой колокольчик. Жрецы, надзирающие за статуями, спешили к царю, и вовремя посланные войска уничтожали крамолу, пока она не дала ядовитых всходов. Это удивительное достояние вавилонского владыки отрезвляло его неблагоприятных подданных и заставляло завидовать соседей.

Есть много объяснений этому чуду, сходных лишь неубедительностью. Одни говорят, что царь вавилонский владел знаменитым кольцом Соломона, силой которого заточил в статуях могущественных духов и заставил служить себе всею обширностью и быстротой сведений, какими они располагали. Другие уверяют, что в те времена, когда правда и нравственность еще свободно входили в людские жилища и разделяли пищу со смертными¹, люди общались с саламандрами, сильфами и другими незримыми так же часто и непринужденно, как теперь с судебными исполнителями; меж тем известно, что для сильфа нет ничего желаннее бессмертной души, получить которую он может, вступив в брак с человеком, и вавилонские владыки благоразумно пользовались этою склонностью сильфов, обещая им хорошенькую вдову с пятнадцатью тысячами ливров ренты в обмен на необременительную службу, за которую сильфы брались тем охотнее, что она удовлетворяла их исконной тяге к перемещениям. Всюду бывая и везде проникая беспрепятственно, сильфы замечали любое вредоносное замышление, кроющееся во тьме, и, в тот же миг достигнув столицы, условленным звоном колокольчика давали знать об увиденном – что до статуй, говорят те, кто держится этого мнения, то в них не больше разума, чем в дверном молотке. Наконец, были и такие, кто считал, что надо относиться к этому рассказу как к аллегории, должной разъяснить нам отношения разума и чувств в нашей душе. Когда их спрашивали, звонили все-таки статуи в колокольчик или нет, они отделялись околичностями.

Дело могли бы прояснить вавилонские жрецы, если бы их теологическая система не была так похожа на ландкарты короля прусского, нарочно наполненные ошибками, чтобы враг, полагаясь на них, завяз в первом же болоте, какое встретится на его пути. Жрецы не забыли сообщить добрым согражданам, что над ними есть небо, но расходились в понимании способов туда попасть. Из-за этого вавилоняне вели себя кто как может, и это придавало их городу живописность помимо той, что принадлежала ему от природы. Вавилонянин дочитывал трактаты своих жрецов до того места, где его поджидало божество, надзирающее за спокойным сном; но если б он проследил мнения жрецов до конца, то узнал бы, что о принципах, руководствуясь которыми статуи выносят свои суждения, ничего положительно сказать нельзя.

Это лишь укрепляло уважение вавилонян к статуям.

¹ Свидетельство глубокой древности описываемых событий. С тех пор как издана «Софа», в мире нет больше нравственности; это всем известно.

II

Жила в Вавилоне бедная вдова, весь достаток которой заключался в темном домике с небольшим садом, а все привязанности – в ее сыне, не достигшем еще двенадцати лет. В ее саду поутру пели птицы, в полдень он давал прибежище от зноя, а подле забора там росла дамасская слива, чьи плоды, как известно, вкуснее всех слив на свете. Проснувшись однажды рано поутру, вдова подумала, чем бы ей порадовать сына, и решила испечь ему сливовый пирог. С этой мыслью она и поспешила в сад.

В то время вавилонский царь даровал одному из своих вельмож по имени Кареб управление богатым городом Ис, расположенным в восьми днях пути от Вавилона. Поскольку Кареб знал, что очи всей Азии будут обращены на правителя столь большого и славного города, он позаботился обо всем, чего требовал от него новый сан, то есть велел свите одеться в путь со всей возможной пышностью, а коней украсить перлами и надушить им гривы аравийскими мастьями. Это блестящее воинство в ожидании своего главы стояло на площади, куда выходил сад вдовы, и покамест Кареб медлил расстаться с пышной постелью, где посещали его увлекательные грезы, кони его адъютантов, дотянувшись губами до ветвей, свисающих из-за забора, объедали их одну за другой, так что когда вдова приблизилась к своей сливе, то нашла ее пустой, как праздное сновиденье.

Увидев это, она опрометью кинулась из сада, выбежала на улицу под звон и топот выступившего в дорогу воинства и, ухватившись за золотые поводья, остановила коня, на котором восседал гордый вельможа.

– О могучий Кареб, – сказала она, – адамантовая опора престола, десница правосудия! Кони твоих людей объели мою сливу, так что я не могу приготовить пирог для моего сына. Рассуди меня с ними как подобает – ведь в твоей руке и право, и вина.

Кареб, смущенный дурным предзнаменованием и раздосадованный мыслью, что о поступке этой сумасбродной женщины вавилонские дамы будут говорить больше, чем о его блестящем выезде, приосанился и обратился к вдове с такими словами:

– Как пышный хор звезд сникает и теряется при торжественном выезде дневного светила, так мнения и деяния смертных обращаются в ничто перед могуществом монарха. В этом городе действует непогрешимый суд нашего государя, коим я, ничтожный, назначен править над славным Исом. Если ты хочешь моего суда, приходи в указанный город, где я рассмотрю твою тяжбу и решу ее по мере своего разумения; но не забудь взять с собою и свою сливу, чтобы она служила доказательством в твоём деле.

Сказав это, он тронул коня.

III

Вдова поплелась домой через базарную площадь; а так как у нее от обиды и горя в глазах потемнело, то она не разбирала дороги и налетела на торговку рыбой, разметав весь ее товар. Та накинулась на вдову с бранью, но вдова, ничего не слыша, удалилась; а торговка, причитая над евфратским лососем, которого рассчитывала продать весьма выгодно, подобрала его такого пыльного, будто он путешествовал пешком по Африке, с грехом пополам очистила и вновь разложила на лотке. Но досада ее не оставляла, а как сорвать ее было не на ком, то она взяла пригоршню индийского перца, в зернах которого даже саламандры не могут жить от зноя, и затолкала одному лососю в брюхо, приговаривая:

– Иди и огорчи кого-нибудь за меня насколько сможешь!

В скором времени она сбыла весь товар и отправилась прочь, все еще проклиная в сердце своем несчастную вдову. А рыба попала на кухню одного ростовщика, явившись редким гостем

в дом, где желудок сверялся не с часами, а с календарем, ибо старый скряга только раз в месяц позволял себе съесть что-нибудь слаще сухих корок и плесневелого чернослива, запивая чем-нибудь крепче воды из фонтана. Повар, он же единственный слуга, питавшийся объедками с хозяйского стола, так торопился приготовить ужин, боясь, как бы хозяин не передумал, что, не разглядев в лососе злого умысла, подал его в медовом соусе. Ростовщик поспешил остаться с лососем наедине, и тот исправно выполнил поручение торговки, а потому не успели выветриться из этого жилища скудные ароматы еды, как ростовщик наполнил его такими воплями и жалобами, что повар мигом прибежал посмотреть, что случилось. Хозяин с удивительной для его почтенного возраста и скаредного питания быстротой бегал по комнате, обхватив себя, как старого друга (которым, к слову сказать, он сам себе и приходился за неимением иных).

– Чем ты накормил меня, беспутный сын ящерицы? – спросил он у повара. – Я чувствую себя так, будто в моем желудке собираются ставить «Малабарскую вдову» и уже подождли весь тот хворост, на котором эта почтенная дама собирается себя спалить². Но если ты намерился за все мои благодеяния похоронить меня в этом меду³, то знай, что еще сильна моя рука воздать тебе злом. Я тотчас кликну стражей, а они опыты в обращении с душегубцами.

Испуганный повар клялся, что он тут ни при чем, готовил настой шалфея и льняного семени, молился всем богам, но перец упорствовал, и когда в дверь ростовщика постучался неурочный посетитель с просьбой не подавать его заемных писем ко взысканию еще две недели, то этот ходячий пожар, приподнявшись со своей простыни, наморщенной, как изюм, поразил просителя столь ядовитой речью, будто в его утробе проросли все тлетворные злаки, порождаемые Понтом, и посулил, если денег не будет через три дня, доставить ему все беды, причиною коих могут быть только неоплаченные векселя. С этой угрозой, оборванной жалостным оханьем, ростовщик уронил голову на подушку, а гость поспешил его оставить.

IV

Я вынужден остановить свой рассказ, чтобы объясниться. Боюсь, публика сочла мои замечания насчет «Малабарской вдовы» неубедительными и спрашивает, не морочу ли я ей голову. – Нет; для этого я слишком уважаю ее мнения или слишком боюсь ее бдительности.

Плутарх говорит где-то, что время так длительно, а материал, на него отпущенный, столь ограничен, что природа вынуждена время от времени перелицовывать прежние события, если она хочет, чтобы хоть что-нибудь происходило. Мне, однако, кажется, что упорство и изобретательность, многократно выказанные природой, кои она в избытке дарует тем своим сынам, что наполняют Академию, равно как и тем, которых содержит Бисетр, стоят выше обидных догадок философа и прозаических примечаний деэписателя. Признаем же за природой высокое простодушие, с каким она смотрит на сходственные исторические положения, как дети, слушающая знакомую сказку, ждут от нее неожиданных поворотов. Эта завидная способность напоминает о том человеке, который ежедневно ходил смотреть на «Целомудрие Иосифа» Десэ, каждый раз надеясь, что дело пойдет на лад, Иосиф перестанет упираться и наконец очутится там, где каждый посетитель Салона хотел бы его заменить, а именно – в объятиях его прекрасной любовницы.

Но одна ли природа, великая мать богов, законов и случайностей, находит вкус в повторениях? Не заронила ли она это пристрастие в сердце каждого? Почему Ороондат торопит кучера, везущего его домой, чтобы застать жену врасплох? Неужели он рассчитывает увидеть что-то, чего не видел прежде? Почему Моабдар вседневно изобретает новые распутства, в которых пытается погубить свою душу, хотя отлично знает, что души у него никогда не было?

² Смею уверить публику, что в Вавилоне была своя «Малабарская вдова»; как это ни удивительно, но это достоверно.

³ Вавилоняне кладут своих покойников в мед, как сообщает Геродот.

Почему Земира... Впрочем, оставим Земиру. Свет полон дурачествами, между которыми – я возвращаюсь к «Малабарской вдове» – театр занимает видное место. Некогда римляне завели у себя сценические представления, чтобы отвратить моровое поветрие. Они не думали, что на место кратковременной чумы нажили себе постоянную. Свет не может отстать от зеркала, в котором видит самого себя; льстит ли оно ему, выходя из границ умеренности, дерзит ли, нарушая все приличия, – он смеется, глядясь в него, не чувствует пресыщения и отмахивается от моралистов, намеренных омрачить ему удовольствие.

Но мы от малабарской вдовы вернемся к вавилонской.

V

Человек, принесший ростовщику вместо денег неоправданные расчеты и обменявший их на тяжелые опасения, был журналист⁴. Промысел его был почти тот же, что и нынче. Один мудрый персиянин говорит, что природа озаботилась сделать людские глупости преходящими, а книги их увековечили; если б он читал наши журналы, то признал бы, что в них природа взяла свое, назначив печатным глупостям краткий срок, по истечении которого их общество составляют лишь перец и вакса.

У вавилонских журналистов были особые приемы. Когда требовалось сочинить отзыв на новую книгу, они не думали читать ее или справиться об ней у тех, кто ее наверное читал, то есть у автора, его жены и наборщиков; нет, они прежде всего брали в руки особые кости, вроде игральных, и, вознеся в сердце краткую молитву одному из божеств, надзирающих за ремеслами, бросали кости и смотрели, сколько очков выпадет. Получившееся число они сверяли с имевшейся у каждого журналиста памятной запиской, содержащей длинный ряд пронумерованных афоризмов, кратких и темных, вроде девизов на эмблемах книгоиздателей. Затем они толковали выпавшее изречение, убивая на него столько страниц, сколько им позволяла фантазия, и таким образом получалась неплохая рецензия⁵; а если журналист приписывал соннику отважное глубокомыслие метафизического трактата, а мемуары Академии надписей хвалил за изящество любовной интриги, то публика сносила это хладнокровно, ибо писать рецензии по печени жертвенного животного хотя и казалось надежнее, но было бы слишком накладно.

Итак, огорченный журналист вернулся на свой чердак и сел за работу; но как мысли его были далеко, то гуляя по простору его карманов, то складываясь в угрюмый столбик счетов, он совсем не думал о том, что писал; а потому вышло так, что когда на следующий день философ, недавно опубликовавший обширное рассуждение о человеческой воле, нетерпеливо развернул новый номер журнала, то обнаружил, что заблуждения, в борьбе с которыми он пролил весь пот своего чела и всю желчь своего пера, ему подарены. Он твердо верил, что можно быть добродетельным без особой помощи богов, между тем как в статье именно говорилось обратное. Возможно, журналист думал таким образом свалить на небеса те проказы, благодаря которым он остался на голом чердаке без гроша в кармане, но наш философ о том не знал.

Удивительно, как раздражаются от своих невзгод люди, способные в любую минуту написать утешение по поводу гибели Коринфа или от души примириться с предположительными бедствиями наших потомков. Философ тотчас взбесился – лицо его сделалось красно – он посылал несчастного журналиста в такие пропасти, награждал такими болезнями, что даже удивительно, откуда философы о том знают. Вдруг его мысли переменили направление.

⁴ Геродот не упоминает о них; однако его рассказ о чрезвычайно остроумном способе лечения, принятом в Вавилоне и состоявшем в том, что больному, вынесенному на базарную площадь, дает советы всякий проходящий, наводит на мысль, что в обществе, столь расположенном слушать нелепости, не могло не быть журналистов.

⁵ Отсюда понятно, почему слово *numerus*, относившееся первоначально к очкам, выпавшим на костях, стало в дальнейшем означать и сами издания, наполнявшиеся сим способом. Гораций показывает, чего, по его мнению, стоят вавилонские журналы, когда советует Левконое не брать их в руки: *Nec Babylonios temptaris numeros* etc.

– Прекрасно! – сказал он. – Мы можем это проверить. В настоящую минуту боги не одолжили меня никакой благодатью; думаю, я могу утверждать это, поскольку чувствую себя не хуже и не лучше, чем обычно. Вон стоит молодой человек, прилично одетый, и на лице его написана глубокая задумчивость; если я без всякой помощи небес смогу оказать ему благодеяние, значит я прав.

И он твердым шагом направился к молодому человеку. Подошед к нему, он назвал свое имя, род занятий и просил его назвать точный день и час своего рождения. Тот, удивленный, выполнил просьбу. Тогда философ – искусный, как все вавилонские философы, в составлении гороскопов – с удивительной быстротою расчислил судьбу молодого человека и сказал ему:

– Я вижу, друг мой, что вы хотите взяться за некое дело, известное вам одному, но смущаетесь мыслью, что оно принесет вам больше тревог и издержек, чем удовольствия. Однако боги и гении деканов, управляющие вашей судьбой, твердо обещают, что если вы отбросите сомнения и приступите к своей затее нынче же вечером, то будете вознаграждены втрое и вчетверо против ожидаемого. Не медлите. Вон за углом стоит фиакр, которым я бы советовал вам воспользоваться.

Молодой человек, чье лицо просветлело, рассыпался в благодарностях и, горячо пожав руку философу, кинулся к карете. Что до философа, то он, совершенно удовлетворенный и успокоенный, отправился домой.

VI

Этот молодой человек был влюблен в женщину, на которую доселе смотрел издалека, как на крепость, чьи крепкие стены и бдительный гарнизон делают ее неприступной. Полученное предсказание все переменяло: он узнал, что звезды осведомлены о его склонности и не думают ей препятствовать. Он кинулся к прислуге и подкупил ее; он нарядился, как на праздник, на совращение добродетели и мелькал вокруг предмета своей страсти, куда бы тот ни направлялся; он сделался суший Леандр, каким его показывают на сен-лоранской ярмарке, и наконец сочинил письмо в чрезвычайно нежных выражениях, где представил себя находящимся между пропастью отчаяния и небом блаженства. Его встретили удивлением и гневом. «Втрое и вчетверо», – подумал он и умножил усилия. Следующее его письмо она не порвала; над третьим улыбнулась. Он добился до того, что вызвал ее задумчивость, а это многого стоит.

Муж ее был старый воин, ныне занимавший небольшую должность в интендантском ведомстве; как ни любил он ее, а ей все казалось, что свои раны он любит больше. Неловкие знаки привязанности, кои он ей оказывал, прежде казались ей трогательны, но от привычки сделались смешны. Его рассказов о битвах, в которых он спасал государство, она пугалась; его одушевление оставляло ее безучастной; она ревновала его к прошлому, куда он пускал гулять свою обветшалую доблесть. Она не имела вкуса к пороку, иначе быстро осчастливила бы мужа ненарушаемым покоем, а себе снискала общепринятое удовольствие; но тихая, однообразная жизнь пробудила в ней любопытство – а по эту сторону Стикса нет более покатого пути к мучению.

Муж начал замечать, и от тревоги супружеская любовь возгорелась в нем с юной пылкостью. Он приступил к жене с расспросами – и увидел в ее глазах замешательство и досаду; начал следить за ней – и научил ее скрытности; стал умолять – и внушил презрение. Он не знал, что делать. Разум его мутился. Его старая сабля попала ему на глаза. Он достал ее из потертых ножен и глядел на нее чрезвычайно внимательно, проводя по ней рукою. То он хотел вложить ее обратно в ножны, то отбрасывал их, и так продолжалось долго; под конец он схватился рукою за лоб, а когда отнял ее, то улыбнулся и сказал:

– Странное дело, ведь я рыбак, а так долго пренебрегал своими занятиями; но наперед уж я не забуду, кто я таков, ведь печальнее нет человека, что гнушается своим ремеслом.

Если бы это увидел философ, он, вероятно, оплакал бы свою ошибку, обычную для тех, кто путает добрые дела с бесплатными; но он в это время думал совсем не о нашей истории, так что и мы покамест не будем думать о нем.

VII

На следующее утро старый ратник вышел медною калиткою к Евфрату, который течет посреди города, и, усевшись на берегу, принялся удить рыбу с отменным прилежанием, какое свойственно безумцам в их занятиях. Просидев так довольно долго, он заметил, что рыба не клюет (и для нее это было бы затруднительно, поскольку вместо уды он погрузил в струи Евфрата свою саблю и водил ею туда-сюда), и решил, что это оттого, что здесь мелкое место. Тут чрезвычайно кстати попался ему на глаза некий водонос, в отрепьях и с большим кувшином на плече. Безумец окликнул его и сказал:

– Видишь, любезный, я ловлю рыбу, как это принято у нас, рыбаков, только воды здесь маловато; посему мне нужны твои услуги. За каждый кувшин, что ты до заката принесешь мне из фонтана Справедливости и Милосердия⁶, я дам тебе золотой. Поторапливайся, и мы с тобой исправим эту реку.

Тут он раскрыл перед водоносом кошель, и бедный малый, увидев, что для своих дурачеств его собеседник располагает достаточными средствами, без дальних споров направил свои стопы к указанному фонтану. Он сходил к нему раз и еще раз; рыбак давал ему золотой, а воду выливал в Евфрат; путь был неблизкий, и когда водонос шел с очередным кувшином, а солнце было на закате, ему хотелось успеть за последней монетой, и он, чтобы сократить дорогу, решил пройти через площадь со статуями. Его шатало от беготни и тяжести, и в недобрую минуту он, проходя меж изваяниями, споткнулся и толкнул одно, которое качнулось, упало, и отколовшаяся голова покатила водносу под ноги. Не успела она удариться оземь и поднять пыль, как он пережил все, что ему предстоит: его хватают, приводят к царскому суду, приговаривают, не внемля оправданиям, и его голова летит с окровавленной плахи. Водонос застыл от ужаса. По счастью, на площади в этот час никого не было. Придя в себя, он кинулся к своему другу, лудильщику, который жил неподалеку и был человек благоразумный и степенный. Лудильщик выслушал его бессвязный рассказ, понял его и сказал:

– Если ты просто сбежишь оттуда, нарядят следствие и тебя найдут. Давай-ка пойдем на площадь и вместе оттащим эту статую на мой двор. Люди, как ты знаешь, приносят мне прохудившиеся тазы и кофейники, так что я, пожалуй, могу починить и бога, которого ты неосторожно изломал. К следующей ночи все будет не хуже прежнего.

– О чем ты говоришь! – завопил водонос. – Едва взойдет солнце, все увидят, что статуи нет на месте, и тогда прощай моя голова!

– Нужды нет; ты заберешься на место статуи и постоишь там до вечера, покамест я буду ею заниматься, – хладнокровно отвечал ему приятель.

– Помилуй! только слепой не заметит различия между нами.

– Похоже, твоя голова тоже нуждается в починке, – сказал ему лудильщик, – неужели ты не знаешь, что люди меньше всего замечают вещи, которые изо дня в день торчат у них перед глазами? Отбрось все сомнения, бери в руки колокольчик и помни, что с закатом солнца я избавлю тебя от обязанности быть городом.

Таким-то образом случилось, что первое, что увидела вавилонская Аврора, поднявшись со своего шафранного ложа, был бедный водонос, стоящий среди городской площади на поста-

⁶ Неизвестно, что представляли собой фигуры, украшающие этот фонтан. Будем надеяться, что древний ваятель обошелся с этим сюжетом лучше, чем нынешние граверы – с картиной г-на Лагрене. Их эстампы, наводняющие набережную Театинцев, показывают мало справедливости к художнику и еще менее милосердия к зрителю.

менте с колокольчиком в поднятой руке. Вид у него был очень глупый, хотя Авроре, вероятно, доводилось видеть и не такое.

VIII

Женщины ссорились у его подножия; маги беседовали о знаменьях; купцы заключали сделки; собаки кусали прохожих; он услышал столько всего о почтенных земляках, сколько они сами о себе не знали, стал наперсником столько тайн, сколько не открывалось ни одному сильфу, и наслаждался бы весьма поучительными зрелищами, если бы мог забыть о себе самом. Солнце пекло так, что водонос чувствовал себя румяным хлебом в печи, и при этом ему нельзя было ни пошевелиться, ни даже повести бровью, когда с нее капал пот. Он и не знал, что день так длинен. Чтобы убить время, он начал загадывать самому себе загадки, но, к сожалению, отгадывал их слишком быстро; потом он решил попросить бессмертных богов о помощи и, подумав, кто из них скорее откликнется, обратился ко всем им вместе.

– Благие и милосердные боги! – взмолился он в сердце своем. – Где бы вы ни вкушали свое вечное блаженство, между блюдами на своем пышном пиру вспомните о злосчастном водоносе, что играет чужую роль, опасаясь за конец своей собственной! Никогда прежде – ибо я не писал элегий, не зарабатывал на хлеб воровством и не вступал в законный брак – никогда мне не было столь желанно зрелище заката и столь нестерпимо его ожиданье. Конечно, я не стою того, чтобы ради меня погонять колесницу солнца, но если вы знаете нетрудный способ облегчить мое состояние, прошу вас, не пренебрегите им, – а я за это клянусь быть добродетельным или принести в жертву двух горлиц, в зависимости от того, что вам приятнее.

Но пока он говорил или, вернее, красноречиво думал все это, боги послали ему в ответ одну мушку от целого роя однодневок, праздно вившегося над площадью. Мало знающая свет и оттого беспечная, мушка подлетела к водоносу слишком близко и была затянута глубоко в ноздрю его воздыханьями о своей судьбе. Водонос задержал дыхание, моргнул, сотрясся, как канатоходец на колеблемом канате, замер, подумал, что смог удержаться, – и обманулся. Он чихнул, и колокольчик в его руке звякнул. Жрец, скучавший подле статуй, наострил уши и, убедившись, что ему не послышалось, со всех ног кинулся во дворец. Все засуетилось. Царю доложили о доносе статуи, а на вопрос, какой город поднял против него нечестивую главу мятежа, отвечали, что звон раздался от статуи, изображающей город Ис.

– Это поразительно, – сказал царь. – Недели не прошло, как мы назначили туда сатрапом Кареба. Какова неблагодарность людская – он еще не успел туда добраться, как замыслил отпадение! Скажи, визирь, слыхано ли такое?

– У человеческого сердца, государь, есть глубины, в которые никто не спускался, – с поклоном отвечал визирь. – Милосердные боги наделили нас столь многими заботами, чтобы нам было недосуг исследовать самих себя, ибо они знали, что это занятие для нас опасней ловли жемчуга и бесплодней погони за тенью.

– Не думаю, чтобы я спрашивал об этом, – сказал царь.

IX

За Каребом послали сильный отряд, велел ему поторапливаться; а так как этот вельможа свершал свое поприще без спешки, в каждом красивом оазисе останавливаясь на день-два, то посланные из столицы сообщили ему неприятную весть, что он государственный преступник, в тот самый миг, когда на горизонте показались блестящие стены и кровли города, над которым Кареб думал властвовать. Ему не дали даже удивиться как следует; закованный позорными цепями, посаженный на хромого верблюда, оплакивающий свою судьбу, Кареб под неусыпным присмотром был доставлен в Вавилон, где ему объявили, что он виновен в измене, а на попытки

оправдаться отвечали, что статуя не ошибается. Назначен был день казни. Народ из близлежащих деревень стекался занимать места за несколько дней, ночуя на площади и питаясь тем, что получалось украсть друг у друга.

За всей этой сумятицей никто не заметил, как в наступивших сумерках водонос с лудильщиком водрузили на прежнее место город Ис, с его грозным колокольчиком и безмятежно улыбающейся головой, приставленной так надежно, что теперь ничто бы не заставило ее покинуть свое место. После этого лудильщик побрел назад к своим кофейникам, посоветовав водоносу больше не дурачиться.

А водонос, едва уверившись, что все обернулось благополучно, был так счастлив, что не замечал ничего вокруг и только носился с кувшином, пританцовывая на бегу; потому о том, что Кареб схвачен и осужден по доносу волшебной статуи, он услышал лишь в самый день казни, и его сердце наполнилось сожалением. Он бросил кувшин, помчался на площадь, куда сошелся весь город, и, обращаясь к палачу и всей площади, завопил во все горло:

– Жители Вавилона и ты, широкая секира правосудия! Клянусь всеми богами, что Кареб не совершал того, в чем его обвиняют! – И, поведав свою историю, которую внимательно слушали добрые вавилоняне, судейские чиновники, палач с его секирой, боги, надзирающие за судом и расправой, и сам вавилонский владыка из дворцового окна, задернутого шелком, честный водонос закончил предложением отпустить Кареба, а взамен казнить его, поскольку он всему причиной.

Х

Бродивший среди толпы безумец, который считал себя рыбаком, вместе с другими слушал водоноса. Удивительным образом от этой исповеди в нем проявились мысли: он узнал себя, свою жену, вспомнил все, что повредило ему разум, и наконец того человека, которого заставил бегать за водой и который теперь хочет, чтобы его казнили. К старому воину вернулось былое мужество: зычным голосом он крикнул, что негоже наказывать человека, который всего лишь выполнял чужое распоряжение. Вслед за этим он рассказал, как в безумии, коим был охвачен, заставил водоноса таскать кувшин из фонтана в реку, загоняв его до того, что в недобрую минуту он споткнулся на площади.

Тут загорелся стыд в его жене; огласив площадь стенаньями, она призналась, что безумие мужа вызвано одним ее легкомыслием, и лишь просила не отправлять ее на тот свет в одиночестве, но дать ей в спутники того волокиту, из-за которого чуть не погиб разум и сама жизнь достойнейшего человека. Молодой человек, на которого она указывала пальцем, пытался закрыть лицо, однако же был признан философом, по сей день гордым от воспоминания своей благотворительности. Испустив тяжелый вздох, он твердым голосом сказал, что если кто и виновен в пороках этого юноши, то не незрелый нрав, но дурной советчик; засим он рассказал свою историю и – поскольку тщеславие не угасало в его душе и в такую минуту – прибавил, что совершил этот опрометчивый поступок в качестве опыта, ибо журналы никак не хотят его понять. Журналист, конечно, был здесь. Он рад был промолчать, но божество вавилонского раскаянья, у которого, по всему судя, нынче были именины, бросило философа, едва завидев новую жертву, и завладело ею так же точно, как прежними. Журналист признался, что раздражение почтенного философа вызвано его рассеянным пером, поскольку (мстительно прибавил он) ростовщик не хотел оказать ему снисхождения, и он не имел бесстрастия разбирать метафизику человеческой воли пред воротами долговой тюрьмы.

Народ не успевал поворачивать голову от одного к другому, гадая, которого же из них казнят. Ростовщик не мог запираяться, но все свалил на действие отравленной рыбы, купленной его слугой на базаре; за рыбу повинилась торговка, простосердечно сказавшая, что ее рука

наказала ростовщика, накормив его перцем, поскольку не могла дотянуться до женщины, опрокинувшей ее лоток с товаром.

– Это правда, – подняла голос вдова, бывшая неподалеку, – вспоминаю, что я перевернула лоток этой доброй женщины; я не видела белого света, оттого что Кареб отказался воздать мне за дамасские сливы, съеденные его конями.

Тут Кареб скованными руками схватился за голову, ибо увидел, что дело, гулявшее по площади, вернулось к нему и уже не уйдет.

– Всё очень запуталось, – заметил визирь.

– Я полагаю, – сказал царь, – эту историю не расплетет и хороший рассказчик, не то что наши судьи.

– Я все же смею думать, что мудрое решение лежит неглубоко, – сказал визирь.

Царь ответил ему на это:

– Когда ты не знаешь, что сказать, ты гладишь бороду. Иногда мне кажется, что твоя борода – единственное во дворце, что мне не лжет: когда я вижу в ней твои пальцы, я точно знаю, что мне думать.

– Возможно, ваше величество поступает немного опрометчиво, сообщая мне об этом, – заметил визирь.

– Неужели я рассказал бы это тебе, будь у меня хоть капля опасения, что ты сумеешь отказаться от этой привычки? – спросил его царь.

XI

Между тем народ волновался, ибо, придя посмотреть казнь одного человека, мог питать основательную надежду, что казнят десятерых, а теперь дело оборачивалось так, что не казнят никого. Возможно, это тянулось бы долго; но, на счастье вавилонян и читателя, в эту минуту ветер очень кстати подхватил с окна белый платок, которым царь отирал лоб, и вынес его вон. Толпа, задирая головы и толкаясь локтями, встретила кружащийся платок криками восторга.

– Что это значит? – спросил царь.

– Что вы помиловали всех, ваше величество, – отвечал ему визирь.

Это была воистину величественная сцена, так что если бы г-ну Алле захотелось написать картину в пару той, что он с таким успехом сделал для Шуази, он мог бы изобразить вавилонский народ, с волнением глядящий на высокое царское окно, и быть уверен, что не промахнулся с предметом. Конечно, казни теперь ждать не стоило – хотя некоторые из собравшихся решили на всякий случай остаться еще на день, – но царская милость есть зрелище, подобное явлению небесных богов, и никто из видевших ее не думал, что потратил время напрасно.

– Это всё прекрасно, – сказал ростовщик слуге, когда они возвращались домой, – но только не для моего желудка. Похоже, толпы последователей Зороастра притащились туда со своим хворостом и кресалом, чтобы почтить там весь огонь, какой смогут развести. Надеюсь, ты не допил ту шалфейную настойку, которую приготовил третьего дня, не то я найду на тебя управу.

– Всю жизнь, – сказал сам себе водонос, – изображал я водоноса, не пропуская ни дня, и мне доставались лишь попреки, гроши да ломота в спине; всего один день, с утренней зари до вечерней, я изображал Ис – а ведь это славный и древний город, не имеющий себе соперников, если не считать нашего города, и там много всякого богатства, и высоких домов, и благоуханных садов, и храмов, убранных золотом, – так вот, из-за этого дня на меня свалилось столько тревог, сколько не знал мой бедный жребий. Уж лучше я снова буду изображать водоноса, потому что от славы и богатства мне досталась худшая сторона, то есть вечные заботы и волнения, а свою спину я хотя бы знаю чем смазывать.

– И всё же это ничего не доказывает, – сказал упрямый философ, вышагивая по своей улице.

– Как пышный хор звезд сникает и теряется при торжественном выезде дневного светила, – сказал визирь, – так дела и помышления смертных бледнеют, когда сами благие боги решают снизойти к нашим затруднениям. В самом деле, если бы мы...

– Ты опять гладишь бороду, – сказал царь.

ХII

Старый воин примирился с женою, и они жили счастливо. Водонос с радостью вернулся к кувшину и беготне по улицам. Вдове заплатили за сливы, съеденные лошадьми, и она испекла пирог для сына. Кареб был прощен и вновь допущен в царские чертоги. Опытный царедворец вскоре вернул себе милости монарха, однако некоторое время еще боялся ими наслаждаться. Его имя было усвоено теологической системой халдеев, где оно означало цепь случайных причин, вызывающих одна другую и против ожидания приводящих к справедливому результату. Некоторые, впрочем, утверждают, что для этого понятия халдеи использовали слово, в переводе означающее «пирог с дамасскими сливами». Возможно, правы и те и другие.

Сообщают, что впоследствии вавилонский царь все-таки казнил всех, упомянутых в этой повести, и сверх того еще некоторых. Если эти известия правдивы, надо полагать, что у него были на то основания.

II

Чудо святого Григория Великого

Татьяне Анисимовой

Один человек из Аквилеи, живший торговыми делами, отправлялся по разным надобностям в Рим, где рассчитывал найти издавна живших там родственников жены. Вместе с несколькими земляками, уговорившись о раскладке дорожных проторей и встретясь утром за городскими воротами, он беспрепятственно добрался до Равенны, где им нашлось покровительство в посланном по распоряжению экзарха в Рим воинском отряде, начальник которого согласился принять купцов под охрану своих солдат. Остановясь на постоялом дворе, встроенном в стену у Фламиниевых ворот, и потратив вечер на то, чтобы отдохнуть и разместиться в отведенном месте, аквилеец поутру, простившись со спутниками, отправился в город и много позже полудня, затруднившись по давней памяти поисками дороги, добрался до дома свойственников, где его неожиданный приход встретили тесть и старший его сын. Отвечая на вопросы, вызванные несколькими годами разлуки без вестей, в особенности о жене, которую взять с собой по нынешним обстоятельствам было никак нельзя, рассказывая также о своем патриархе и о большом торжестве архиерейским служением, виденном недавно в соборе Святой великомученицы Евфимии, аквилеец, радушно принятый и готовый повествовать о многом, засиделся в их доме до темноты, когда уходить было опасно, и остался на ночь, которую почти всю провели они за столом в разговорах. Поутру, помня о своих делах, он, хотя тесть горячо его отговаривал, решил уходить; но покамест, договаривая и запрягая лошадь, он собирался, его шурин, человек заносчивого нрава, весь вечер боровшийся с неприязнью, какую внушала ему самодовольная словоохотливость гостя, к тому же воспаленный выпитым вином, ища сорвать свое раздражение, вдруг выбежал с обвинением аквилейца в краже его вещей. Смутьяс его неистовством, тот отвечал, что готов открыть ему свое добро на осмотр, в сознании своей невиновности и чтобы не вносить меж ними вражды; но молодой человек, пренебрегая увещаниями отца и в каждом движении аквилейца видя несомненные знаки своей правоты, в ярости накинулся и поразил его несколькими тяжелыми ударами, от которых тот упал на землю, и обоим оттуда, где они стояли, видно было, что он умер. Гневные укоризны отца прервали молчание. Сын взвалил тело на подводу, запряженную аквилейцем, а сам, чтобы их препирательств не было слышно с улицы, пошел с отцом в дом. Покамест оттуда доносились их голоса, лошадь, нанятая аквилейцем у содержателя постоялого двора, переступила с ноги на ногу и тихо вышла из ворот. Никто того не заметил. Из небольшой улицы она выбралась на пустырь, по которому брела, подгоняемая духом мертвеца, пока наконец, при небольшой перемене ветра, не остановилась, успокоенная, у высокой травы подле паперти; но игравшие дети, прятавшиеся с криками в терновнике у церковных ворот, а также какой-то давний дух, тянувшийся из глубины церкви, снова ее встревожили, она вздрогнула и повлекла телегу дальше. Она прошла Константиновой аркой; чередой императорских площадей перед нею открылась. В проломленных стенах прежнего рынка за ней было увязались обитавшие в камнях собаки, но поостановились, смущенные видом бывшего на телеге человека, пока она прошла между прореженным рядом идолов и, избежав опасностей, выбрела к берегу Тибра выше Гемоний. От новых дровяных складов дорога привела бы ее к мосту Святого Ангела, но в окрестностях Марсова поля, где еще виднелись следы чрезвычайного наводнения, задние колеса глубоко завязли, и она с трудом выбилась в другую колею. Знакомые ей места были близко, и, выйдя оттуда на Фламиниеву дорогу, она вскоре была близ постоялого двора, откуда ушла накануне,

и когда подошла к воротам, то из-за собравшихся нескольких подвод, въезжавших на постоянный двор, замедлилась и стала за ними, чтобы дожидаться войти. Общий ужас встретил ее, когда из сеней, чтобы заняться ею, был выпровожен задремавший в прохладе слуга. Хозяин и работники в смертной суете натыкались на безмолвных аквилейцев, которые, выгнанные из комнат шумом и замешательством, как раз выбежали и остановились на дворе. Пока по приказу хозяина, взявшегося распрячь лошадь, тело относили на погреб, аквилейцы меж собой решили, что земляка убили его родственники. Согласившись в необходимости отомстить, приезжие затруднялись тем, что не знали места, куда он направлялся, сказав только, что родня его жены живет за церковью Святого Стефана. Не однажды сбившись в болотистых огородах, не зная, о ком спрашивать, и при сомнениях часто не находя никого, кто мог бы их направить, они несколько часов потратили в поисках. Как уже смеркалось, они прошли мимо нескольких домов и, поскольку на вопрос, не здесь ли вчера потчевали приезжего из Аквилеи, услышали из-за одного забора неразборчивый и угрюмый ответ, враждебность которого показалась им обличением вины, то, благословляя свою удачу, тотчас зажгли и сильно метнули в дом и туда, где по их расчетам должна была быть за забором пленница, три смоляных факела. Услышав, что пламя занялось, и думая теперь о своей безопасности, они свернули в сторону и пошли, издали провожаемые воплями к соседям о помощи и ударами топора, которым пытались подрубить горящие стены.

К утру пожар, слабо препятствуемый сбежавшимися на общую опасность соседями, истребил то, что ему оставалось, и остановился, дойдя до пустыря. По счастью, даже в доме, где начался огонь, никто не погиб. Одно выражение, с каким они переходили от головни к головне, и одно общее побуждение было на лицах, и горестный женский вопль, донесшийся оттуда, где устояли обгорелые сени, заставил всех переглянуться. Толпа пошла; на ее пути молва выгоняла из домов людей, зараженных желанием мести; мужчины хватали топоры, женщины детей; кое-где вычищенная песком мелькала медь панциря. Среди римлян был один человек, которому состояние и известность рода давали первенствовать в важных делах и который дерзостью своих предприятий умел склонить к себе народное мнение. Его звали Литигий; слышав о начале возмущения и его причинах, он поспешил и застал толпу, втекшую на форум, где она разлилась между разросшихся яблонь при Марсовом храме; он собрал людей вокруг себя и сильной надменной речью укрепил во взятом намерении. Аквилейцы, задержанные делами, ради которых сюда прибыли, оставались к утру, с упрямством несчастливца, в той же гостинице, ничем не предупредив отмщения и будучи слишком легко разысканы. Римляне шли к Фламиниевым воротам широкой дорогой, испытывая странную ревность к людям, жившим под тяжелой властью лангобардов, но для которых уже совершились те опасности и скорби, что тяготели над самими римлянами непереносимым ожиданием. Положение аквилейцев вблизи расчетливого короля, под защитой от самовластной герцогской расправы вчуже было завидно, а занятие торговлей казалось личиной ненавистного соглядатайства. Восставшие влились во двор и перекрыли ворота. Слуги попятись и стали у дверей. Литигий потребовал выдать аквилейцев. Хозяин вышел к ним. Осторожность, привитая ремеслом, при виде опасности его достоянию превратилась почти в мужество. Нечестивая расправа с чужеземцами, о коих пекутся небеса, и неуловимая враждебная молва, которая, отвадив от него паломников, впредь не доставит ему случая поступаться их жизнью и имуществом, равно представлялись его воображению. Он вышел на ступени крыльца перед теснотою сограждан, из которых многие были ему знакомы, и с вынужденной твердостью выговорил, что они могут жертвовать здесь своему гневу чем угодно, но пусть гостей его оставят в покое, а лучше Христа ради опомнятся и разойдутся по домам. Яростный крик его прервал. Окна забраны были ставнями; накинута их выламывать. Хозяин, за наглухо заложенной дверью и поставив вдоль окон вооруженную челядь, на коленях препоручал свой дом скорому попечению небес, меж тем как трещали всажённые между досок багры и гневные голоса наперебой ревели ему в ставни. Слуга, замешкав-

шийся при конюшнях, не имел хладнокровия переждать там надвинувшуюся грозу; его увидели бегущим к задним дверям. Толпа втянула его; он еще вырвался, но брошенный камень угодил ему в висок, и бедный слуга упал в открытые перед ним двери. Передние из наступавших, видя убийство, стали в замешательстве.

Незадолго до того, при начале большой чумы, которой уведен был на тот свет прежний римский предстоятель, согласное мнение римлян возвело на епископскую кафедру, одолев его сильнейшее нежелание расставаться с жизнью созерцательной, Григория из рода Анициев, славного между римлян памятью предков, делами милосердия и той твердостью, с какой он в должности папского посланника отстаивал римские нужды при императорском дворе. Извещенный о мятеже, он с небольшой свитой добрался до Фламиниевых ворот. Смутив своим появлением толпу, любившую в нем человека, в чумное время, как говорит Писание, ставшего между живыми и мертвыми, и поднявшись на распряженной телеге, меж тем как в наступившей тишине, позади них, выглянув из дому, хозяин с унынием обходил разрушенный двор, ведя счет выломленному и потоптанному, – Григорий, называя по именам то одного, то другого из мятежников, напоминал им с горькой укоризной те труды и затраты, которые приложил, чтобы выкупить их из плена, и имена церквей, которых драгоценные сосуды были перелиты ради этого. Его речь о милосердии к чужеземцу, которое должны бы иметь знавшие, что такое плен, оказала действие: из задних рядов многие искали украдкой выйти в выбитые ворота. Столбы в конюшне были подрублены, и кони, иные с санными торбами на мордах, разбрелись по двору и дороге; в доме на полу дымились в лужах воды головы, пущенные в окна; и покамест одни из домашних занимались хозяйским сыном, легко раненным в руку, полумертвого слугу положили на кровати и без надежды над ним хлопотали. Наложив на всех соразмерное покаяние, Григорий выгнал толпу со двора и, вернувшись к себе, послал разыскивать скрывшегося Литигия как ведомого виновника всему учиненному. Между тем аквилейцы, привести которых послан был нотариус с речью о безопасности, явились в епископский дом. Обеспокоенный той неприязнью, с какой они должны были покинуть город, Григорий склонен был заботиться о ней тем более, что сношения его с аквилейской церковью оставались затруднительными. Вследствие того, что ее патриарх противился императорским постановлениям о трех отцах, находя их осуждение неприемлемым на том основании, что нечестиво выносить таковые распоряжения о лицах, умерших в мире с Церковью и более не подлежащих ее суду, и из-за этого несогласия решительно отчуждаясь от римского престола, целое поколение воспиталось в этой суровости к мнениям римской церкви, так что искать согласия еще стало тяжелее, и Григорий с тревогой ждал увидеть дух вражды в представших ему аквилейцах. Он обратился к ним радушно, сетуя на безрассудство римского нрава и суля свое неизменное покровительство, а заговорив об обстоятельствах, при каких погиб их товарищ, обещал прилежный розыск и просил передать некоторую денежную сумму его вдове. Аквилейцы приняли деньги с сомнением. Угрюмость их прорывалась сдержанными угрозами, которые произносил младший из них и по которым было понятно, что их старшина, будучи среди избранных людей Аквилеи, в свойстве с семьею королевского референдаря, много раз исполнял поручения павийского двора, обличавшие высокую доверенность. Старшина, впрочем, только осаживал товарища, недовольный его рассерженной откровенностью в вещах, которые скорее могли повредить их положению, чем придать ему силы; но Григорий, прямо обратясь к нему, спросил, как они думают быть с телом. Тот замялся, не желая оставлять погибшего в этой земле, но и не видя возможности доставить его в Аквилею; тогда Григорий взял на себя как заботу похоронить его по чести, что не мешает его товарищам озаботиться по возвращении церковным поминанием, так и попечение об их безопасности в Риме.

Тут его известили, что начальник воинского отряда, прибывшего из Равенны третьего дня, просит у него свидания. Григорий, которому надо было условиться с купцами об еще одной встрече, ибо он думал переслать через них некоторые письма патриарху и его совету,

рассчитывая снискать доверенность аквилейцев искренним и твердым поведением, вывел их покамест в другую комнату и попросил обождать. Офицер, вошедший с изъятиями учтивости, сказал, что потратил утро у Фламиниевых ворот, по слухам рассчитывая застать там первосвященника, и рад был видеть быстрые следствия распоряжений энергических; и что первое, с чем послал его экзарх, есть рассказ об обстоятельствах сделанного его отрядом перехода. Офицер представлял, что бывшее спокойствие в Италии ныне очень ненадежно; что Равеннская дорога в ее середине никак, видимо, не может быть пройдена миром и что в стенах Сполето, даже в отсутствие хозяина, к ним необычайно враждебны, так что со своим малочисленным отрядом он вынужден был сделать движение через Перуджу, благодаря сговорчивости ее герцога и под его покровительством. Однако военные обстоятельства позволяют надеяться, что сии опасности суть преддверие надежного и выгодного мира, так как силы лангобардов разобщены недавними ударами экзарха в Истрии и Эмилии. Чтобы не терять своих преимуществ, экзарх думает осадить Парму, пока войска его одушевлены, а лангобарды связаны сильными действиями франков около Вероны, и, чтобы обеспечить свои тылы, а вместе с тем дать кое-какие выгоды подначальным ему местам, рассудил за нужное препятствовать сполетскому герцогу в намерении взыскать на римских окрестностях за поражения, понесенные вдали от них. Ввиду того, что все эти действия прямо относятся до благополучия христианской республики города Рима, экзарх считает приемлемым для нее пожертвованием передать ему входящие в городской гарнизон отряды ветеранов, оставя городу Феодосиев полк, достаточный к отражению случайных опасностей. Видя изумление, с каким Григорий слушал этот приговор Риму, начальник отряда достал грамоту экзарха, из которой епископ мог убедиться в истине всего сказанного, и присовокупил, что тот, кому сослужат ангелы при великой жертве и покоряются возмущенные горожане, имеет способы защитить город, не снисходя до попечений политических. С городским префектом, добавил он, и военным начальником все уже обсуждено; но он оставил визит к первосвященнику напоследок не из пренебрежения, но зная, что его согласием скрепляется всякое решение в этом городе. Понимая, однако, трудность вывести гарнизон, офицер оставлял городу две недели на заботы, с этим связанные. Он собирался уходить, как в комнату впустили аквилейцев; при виде их офицер с улыбкою заметил, что едва ли решился бы распространить на них покровительство своего отряда, если бы предвидел, сколько хлопот Святому престолу доставит их появление. Из аквилейцев никто ему не отвечал. По уходе офицера Григорий спросил, много ли он взял с них; купцы отвечали, что ему жаловаться не на что. Поутру бедный аквилеец был отпет и погребен на римском кладбище в присутствии своих товарищей. Поручив их пребывание куратору монастырей и посольств, Григорий того же дня написал послание императору, жалуясь на самонадеянность равеннской власти, оставляющей город беззащитным в виду начавшихся враждебных приготовлений лангобардов, которым, вследствие нескольких военных дерзостей экзарха, никакие мирные условия не покажутся уже удовлетворительными. Затем он составил письмо военному магистру, стоявшему лагерем близ Сполето, с увещанием наблюдать распоряжения герцога и при возможности тревожить его тылы. Вызвав референдария, он хотел обсудить выплаты солдатского жалованья, ибо Феодосиев полк, по причине задержанных сборов из церковных поместий, не получил по расчету в последний квартальный день, согласясь ждать прихода тягловых денег из отдаленных мест, сицилийских и иных, но оттого было ясно, что на усердие его в нынешних обстоятельствах рассчитывать не приходится. Григорий хотел знать, можно ли чем пожертвовать на отплату полку, остающемуся в стенах города единственной его надеждой. Тут донесли ему, что Литигий, благодаря тому, что объявление о его розыске было доведено до старост всех римских концов, был опознан в доме одного кузнеца, где укрылся по старой дружбе, думая отплатиться помощью на кузне и рассчитывая, что в темноте и копоти его трудно будет признать. Так как раненый слуга поутру умер, дело Литигия требовало внимания, и под стражей привели его к обычному месту суда пред Латеранскою церковью Спасителя. Площадь наполнялась наро-

дом, и Литигий, полунагой и в кожаном обгорелом фартуке, как его взяли от кузнеца, вздернутый к копытам конного истукана, выдавался над толпой, озирая своих сотоварищей. Сначала вызывали хозяина гостиницы; но он сказался больным, из дома же его, где все были заняты его сыном, чья рука сильно воспалилась, прислали для требуемых показаний одного какого-то заику, родственника хозяйки, который наконец сказал, что никто из домашних, как они заперлись и предали себя на волю Божию, не видел убийства; из тех же, кто прежде не сомневался в виновности Литигия, никто не выступил, и глашатай прекратил их вызывать. И так как вина Литигия не была удостоверена, то среди собравшихся одни говорили, что он приведен ошибкою и нельзя на нем взыскивать, а другие – что дело еще темно и надобно спросить с аквилейцев. Пока епископ колебался с решением, а всякий судил по-своему, ропот привязанных к недавнему вожаку и устыженных его пленением все возрастал, и наконец, разорвав окружение стражи и отстранив священников, народ, среди кликов угрюмого ликования, отбил Литигия, с судорогой на лице от боли в связанных руках, и, неся его над головами, ринулся в ближайшую улицу, а немногочисленные стражники не отваживались преследовать, пока, при безмолвии оставшихся, несколько человек, возвратясь из тех улиц, куда ушла толпа, не возвестили, что Литигий укрылся в церкви Святой Агаты в Субуре. Настоятель предложил ему оправдаться причащением Святых Таин, Литигий же смотрел на него, как бык, и только просил милости, какая ему следует по церковному обычаю. Остававшиеся на площади с удивлением наблюдали, как епископ, чье лицо при этих вестях прояснилось, повернулся и ушел в дом, велел огласить, что судебное заседание нынче не продолжится. Он затворился для молитвы, вскоре прерванной появлением настоятеля Святой Агаты. Старик, встревоженный нарушением храмового обихода и боясь навлечь на себя неприязнь епископа, пришел за распоряжениями по обстоятельствам, которые сам уладить не имел духа. Между тем как он допущен был к Григорию, пришедший следом начальник посланных за Литигием не решался беспокоить епископа и обратился к первому нотарию, что делать страже, оставленной при церкви. Нотарий отвечал, что дерзнет разрешить это не утруждая святителя, и советовал начальнику стражи показаться с его людьми в доме напротив, так чтобы видели их из церкви, где угнездился Литигий, а потом можно распустить людей по одному и впредь о том не беспокоиться. Григорий же встретил настоятеля словами: «Исторгай ведомых на смерть». Опасаясь какого-нибудь подвоха, настоятель, чтобы склонить к себе епископа, начал жаловаться, как трудно служить Богу в этих местах, Григорий же успокаивал его, говоря, что они в одном положении и соблазны их одинаковы; что он радуется тому, что Бог решил оставить человека, которого они судили, наедине с его сердцем; что настоятелю должно, ничего не боясь, но зная, что церковь не обрушится и от большего удара, соблюсти право убежища и по возможности выправлять обстоятельства милосердием и снисходительностью. Начальник охраны, задержанный нотарием, чтобы проводить настоятеля, довел его в наступивших сумерках до храма, где тот, сильно сбитый с толку, пожимая плечами и возвращаясь сам с собою ко всем обстоятельствам разговора, нашел утешение в долгой молитве, во время которой человек, рекомендованный теперь епископом его покровительству, показывался то здесь, то там и не находил себе спокойного места в опустелой церкви.

Принимая во внимание как множество народа, пред которым предстояло изъясняться, так и характер обстоятельств, в которые надобно было входить, Григорий рассудил за лучшее собрать людей на форуме Траяна. Описав счастливые предприятия экзарха на севере, он заключил тем, что завершение побед еще зависит от помощи, какую экзарх от них требует, впрочем оставляя городу Феодосиев полк; что, отдавая в распоряжение экзарха свой гарнизон, христианская республика нуждается в наборе ополчения и выборе войсковых чинов; что этим надлежит заняться безотлагательно, пользуясь дарованной им отсрочкой. Наступившая тишина его ободрила: он хотел в ней видеть мужество, но, обзревшись, увидел, какое поражение нанесли его слова. Неутомимая враждебность сполетского герцога, его грозные мучительства всем были ведомы. Плач слышался. Не заботясь утешать напуганных общей тре-

вогою детей, люди видели, как их будут вязать как собак и продавать франкам, и того только и добьется экзарх ради своих коней и колесниц, что сбудет народ опять в рабство. Траянов столп высился над толпою. Кто-то, оглянувшись, в сердцах вымолвил: *чего ты стоишь, медный? пропади!* Эти слова проникли в толпу, от своих бедствий чувствительную к знаменьям. Траян был человек, память которого любили, забывая о его язычестве, и не упускали случая колоть глаза нелюбимым властям притчами о добром императоре; знали, что он сжег жалобы по фискальным делам, поддерживал дороги, не обременяя людей, судил царей, приходивших к нему за справедливостью, и по воле Божией получил новую область за Дунаем. Они, однако, быстро бы умолкли, чтоб не спорить попусту с силой времени, когда бы в конце толпы, где стоял подошедший позднее прочих приход Святых Маркиана и Мартирия, не раздалось: *если бы его воскресить!* Казалось, никто того не заметил; но вскоре в задних рядах поднялся ропот, побежал на все стороны и вмиг превратился в страшные вопли. Толпа зашевелилась, глядя на Григория, качая головою и ужасно крича: *воскреси его!* Иные обнимались, приговаривая, что Божьей милостью нашли средство против своих несчастий. Но покамест епископ, безмолвно глядя над восхищенною толпою, казался в недоумении, они глядели на него с нетерпением и злобой испуга, как бы из соображений своего приличия он не отказал им под какой-нибудь отговоркой. Избранные от разных городских концов, кланяясь, подходили к нему; прося воскресить Траяна на лангобардов и ради его славы не оставить его на поношение бесам и варварам, они присовокупляли, что просили бы Бога об этом и сами, если бы их грехи позволяли им полагаться на собственные силы. Пораженный влиянием этого удивительного безумия, подобного которому не бывало с римским народом, Григорий молчал, а когда обращения к нему поутихли, постарался умирить общую ярость, для чего бывшие при нем глашатаи поочередно призывали к тишине. Он предписал трехдневное покаяние и молитвенные бдения в церквах, по окончании которых обещал учинить крестные ходы, а потом заняться набором полков, и поспешил покинуть площадь, чтобы не видеть больше этого простодушия.

Определив надзирателей за сими делами, Григорий счел уместным теперь, когда внимание народное отвлечено от мелочной мести, послать за аквилейскими купцами, а между тем вызвал наконец референдария для разговора насчет Феодосиева полка. Тот донес о настоящем опустении церковной казны, частью ушедшей на контрибуции, частью на обычные нужды, и предложил на время сократить некоторые неперменные статьи расхода, например ущемить в обычном пожаловании нищих собора Святого Петра, которые, впрочем, имели свои льготы еще в готские времена и любят о том вспоминать, хотя сами того не застали; потому референдарий угадывал, что согласия ему не будет. Действительно, епископ всячески отрицался и отказывался обсуждать это, отвечая на все представления, что ни на какую удачу не могут они рассчитывать, если начнут выгадывать на нищих и обижать тех, на ком выказывается благочестие. Референдарий сказал, что еще вчера поговорил с офицерами полка, которые, хотя сами находясь не в лучшем положении, имеют достаточную доверенность к Григорию, чтобы своею властью поддерживать его распоряжения и увещания, но просят о его личном прибытии и разговоре с солдатами, должном иметь важные следствия, в случае если необеспеченное существование или военные выборы – благоразумное применение обычая, дающего выход честолюбию народа, – произведут ропот в полку. Тут принесено было известие от куратора посольств, который, винясь в своем недогляде, доносил, что аквилейские купцы, со всей быстротой решив и заключив свои дела и дождавшись некоторых нужных писем, ушли с подворья, нарушив обещание епископу дать еще одну встречу, и едва ли не воспользовались, при выходе мимо кордегардии у Фламиниевых ворот, дружескими связями своего хозяина, видевшего в этой услуге средство уберечь свой постоянный двор и репутацию. С огорчением предоставив аквилейские отношения естественному ходу, Григорий занялся делами по военному набору и ободрению римлян; между тем волнение их, хотя развлекаемое воинскими приготовлениями, не прекращалось, ибо они находили в поведении Григория повод думать, что он не отказал

им, и в ожидании, когда истекут сроки назначенного покаяния, питались среди прочих несуразностей слухом, исходившим от одного из доверенных клириков Григория. Один человек, впущенный ночью в Остийские ворота, для того, чтобы показать страже письма от епископа, требовал от людей в епископском доме допустить его к святителю, хоть и явился неурочный час. Узнав, что это посланный трех сицилийских обителей, умевший невредимым добраться с монастырской рентой до города, помянутый клирик пошел проводить его, радуясь случаю избавить епископа от этой печали, и, подошед к покою владыки, в полуоткрытую дверь увидел его бодрствующим при свете лампы, на коленях и в слезах, с молитвою, которую клирик расслышал и в которой тот просил небо помиловать Траяна. Это известие обошло город и укрепило народ в его предположениях. Между тем Григорий действительно молился за Траяна, не для того, чтобы уступить толпе, но поскольку находил справедливым ходатайствовать за душу, которая заслуживала бы познать свет Христов и войти в нетленную славу; но люди, от несчастия легкомысленные, считали дело решенным, а потому перемигивались, стоя вечерню на коленях, и встречали друг друга важными улыбками, как заговорщики, и их нетерпение возрастало от обоюдных ободрений.

Был один человек, живший с семьей в приходе Святого Климента, и он рубил однажды молодые деревья на пустыре, а когда устал, то прилег и заснул там; это был полдень, и он спал на самом солнце, а когда встал и пришел домой, то сначала забыл, зачем был на пустыре, и ничего не принес оттуда, а потом начали в нем выказываться явственные признаки безумия. Семья пыталась удержать его дома, но он вместе со своим безумием получил сильную тягу к проповеданию и обходил Рим, провозглашая то одно, то другое, пока к нему не привыкли и не начали его жалеть. Прошло несколько дней, как Григорий объявил всенародное покаяние, когда бесноватый пришел в сильнейшее волнение, и хотя домашние успели запереть его в сарае, он ухитрился выбраться. Пробежав по городу, он увлек за собою много людей, которые в другое время только распорядились бы его покормить. На форуме, став на подножии изваяния, у медных копыт, он затянул песню, перебирая пальцы и оглядываясь с лукавым видом; отчасти наскучив его сумасбродствами, отчасти боясь услышать вплетенными в его пение свои имена, люди сурово вопрошали, чего ради он их выволок; но тот, весь будучи во власти своего беса, не отвечал. Когда уже поднимались на него с кулаками, он остановился и с выражением радости на потупленном лице вымолвил им, что Бог, Который очень к ним милостив, согласился на просьбу их епископа; что Траян воскрешен и должно выйти ему во сретенье со всею пышностью, чтобы приветствовать, и другое в таком роде. Проникновенность, с какою выражается безумие, повернула сердца римлян. Им показалось спасительно, устремясь к церквям, выносить оттуда всех клириков, какие попадутся, дабы предводительствовать шествием, в начале которого колебались над головами исторженные из храмов большие распятия и старые хоругви неизвестно каких полков. Так как прошлой ночью были необычные явления – прошел сильный дождь с тяжелым ветром, завалившим несколько деревьев, и при этом около сходней загорелись дровяные склады и дотла выгорели, – возмущение совершилось очень быстро. В иных приходах клирики собирали сами народ, вместе с ним уверенные, что первосвященник поминал имя императора и за приношением великой жертвы. Те, кого в самом начале навел на эту мысль бесноватый, двинулись к Марсову полю и Элиеву мосту; другая толпа, шедшая со свечами от квартала Ослиных ворот, по всей дороге приказывая вывешивать в окнах цветные ткани, думала добраться до императорских форумов, полагая застать императора под аркою или подле столпа. Чем ближе было первое шествие к Тибру, тем более сомнения его замедляли; у моста с торговыми рядами, заколоченными вследствие бывшей чумы, они увидели, что никакого движения нет у стен замка и только на деревьях, разросшихся в вышине у зубчатого венца, порхавшие птицы качали далеко простертые ветви. Это смутило их особенно вследствие припомненного предания, что император завещал погрести себя у моста на Дунае, и пока кости его не были тревожимы, граница оставалась нерушимой, а также поскольку распространилась

в это мгновение весть, что кого-то в заднем ряду ударило падучей; удрученная дурным знаком, толпа тихо остановилась; мост и замок были перед нею; словно судорога охватила ее, и она, не увлекаясь новыми желаниями и не упорствуя в прежних, распалась, оставив немногих несших кресты и знамена пред чередой изваяний на каменном помосте. Второе шествие не оказалось счастливее, ибо худший дух выгнал в этот день из дому какую-то глухую безумную, чтобы заставить ее, когда они натиснулись вокруг долгожданной колонны на форуме и посматривали уже с отвращением друг на друга, пробиться в самой гуще народа и начать во всеуслышанье спрашивать, когда будет император и где стоят его прекрасные кони; иные хотели ее унять, она же все просила, чтобы ей дали его приветствовать ради той учтивости, какую она знает, и все бывшие при этом деле почувствовали стыд, тем более что их было здесь много, и в сердцах начали расходиться, кляня свою доверчивость, в ту пору как у Элиева моста лишь мелькали редкие оставшиеся, жалея уходить ни с чем и ища в незапертых лавках что-нибудь забытое уstraшенными чумой торговцами. К тому же снова пошел дождь.

Тем временем Литигий, который не раз говорил, что слаще бы ему было спать на гравии, чем коротать время в церкви, понуждал клириков погадать для него на Святом Писании. Наконец они обещали и положили на престол Пророчества, Апостол и Евангелие, а Литигий стоял рядом и держался за престольный покров. Попросив Бога открыть им то, что касается Литигия, они уговорились развернуть во время службы каждый свою книгу и прочесть, что откроется, но по настоянию Литигия принялись за это, ничего не дожидаясь, и когда открыли книгу Пророков, то прочли: «Вот, уложу по порядку камни твои, и в основание твое положу сапфиры»; и он весьма обрадовался этому. Когда открыли Апостол, в нем нашли: «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне». А когда хотели разогнуть Евангелие, оно упало с престола, и клирики всячески просили Литигия не продолжать гадания; однако, вынужденные его упорством, развернули книгу и нашли следующие слова Господа: «Не говорите ли вы: „Еще четыре месяца, и будет жатва?“ Вот говорю вам: возведите очи ваши и видите пределы, кои белы на жатву». В это время от людей, расположенных к Литигию, послан был вестник сказать ему, что при общем замешательстве выход его из церкви никем не будет преследуем; что военная опытность будет для него лучшей порукой; что люди, которых отчаяние толкает воскрешать мертвых, благословят его доблести и что сам апостольский престол сочтет благодетельной ту случайность, которая не дала совершить над ним суд. Литигий решил немедленно покинуть церковь, зная о смуте, поднятой торжественными процессиями, и рассчитывая в ней затеряться. Он простился с клириками, обещая не забыть их; они благословляли его с облегчением. На паперти, где слетались птицы, ему, быстро выходявшему, ударил в лицо неловко взлетевший воробей; клирики были этим весьма уstraшены, припомнив слова пророка: «Ибо голубь обретает себе дом, и воробей блюдет время входов своих», так как воробей обыкновенно обозначает внешние чувства. Литигий же, только потрянув головою, сошел с крыльца, забрал коня у гонца и, в волнении честолюбия, застоявшегося в церкви, пустился прямо к Марсову полю, а на дороге столкнулся с одним из шествий, протянувшихся с пением и стягами; он еще проехал на коне за крестом, привлекая внимание могучим сложением и горделивым видом, однако вскоре в глазах у него потемнело, так что он не замечал, что делает, между тем конь свернул и завез его в проулок, где он, опомнясь, остановился и спешил. Хозяева дома окликнули его, как знакомого, он же стоял, привалясь к забору. Пока бегали за помощью и стучались по ставням, он, жалуясь на дурноту, лег на землю, чтобы найти облегчение, и испустил дух. Тут-то сбежались на помощь, когда вокруг него осела пыль, и обступили его.

Во все это время Григорий в епископском доме не отдал ни одного распоряжения, хотя о городских происшествиях доносили незамедлительно, и находился в какой-то задумчивости, удивительной первому нотарию, между тем как неподалеку на пороге церкви люди пререкались с кардиналом Остийским, увещевавшим их оставить безумное намерение и противившимся их стремлению увлечь его самого для руководства шествием. Нотарий склонялся

приписывать бездейтельность епископа нежеланию доставлять раздражение бесноватым, которые составляли большую силу в городе; видя же, что епископ затворил двери своих покоев, нотариий принял это как приказ никого к нему не допускать и отстаивал двери от некоторых людей из римского клира, явившихся на пороге с требованием видеть владыку, пока двери не растворились перед спорящими и Григорий сам не вышел. Пришедшие теснились вокруг него с рассказами о том, как люди, в прочем выказывая уважение, всюду захватывают церковную утварь и уводят священников, обещаясь все вернуть к вечеру, а при счастливых обстоятельствах еще и прибавить, и как это удивительное упорство встречает сочувствие настоятелей и участие старост. Григорий выслушал со склоненной головою и отвечал, что не нужно никому мешать, когда же снова закрылась за ним дверь, клирики стояли, не зная, возвращаться ли им в разоряемые храмы или остаться беречь епископа, за которого они опасались. Вечеру они принимали в ризницах возвращаемые вещи от людей, утомленных досадой от потраченного без работы дня, хотя это было не воскресенье. Площадь перед Латеранским дворцом полнилась вернувшимися. Григорий вышел и оглядел их; потом пошел в храм и стал на молитву, а они стояли на коленях, положив детей рядом с собою, и ждали, когда он их простит. Бесноватый Св. Климента стоял скромно и как бы в раздумье; но, когда епископ со слезами выходил из базилики, вдруг начал говорить с великой злобой: «Малодушный, ты отлично знаешь, что твой дар чудотворства оскудел с тех пор, как ты принял сан, о чем свидетельствует и твое смущение; зачем же ты указываешь этим людям, о чем им жалеть, если не из привычки распоряжаться?» И как он говорил это с большой настойчивостью, иногда бросаясь на землю, одни недоумевали и переговаривались друг с другом, а другие обличали эти речи, исходящие от самого изобретателя лукавства, и указывали, что он не сказал ничего нового, ибо о том, что силы его уменьшились, сам Григорий говорил неоднократно в проповедях. При виде сомнения, с каким его слушали, бесноватый впал в неистовство и помчался прочь, скача из улицы в улицу, где плескало в окнах отсыревшее полотно, и пришлось искать его в огромных каменных рядах старого театра, поросших тесным остролистом, где он перебегал и прятался с удивительной хитростью, и искавшие его от утомления решили остановиться и отужинать на камнях, так как прихватили с собой съестного. Наконец заметили его меж каменных пещер, которые назначались для зверей, когда был еще театр, а как он не успел переменить места и пытался только затаиться, подавляя в себе дух, то заперли ему бегство, поставив двоих при выходах, и, поймав, отдали его Григорию. Епископ же, не видя способа поправить его положение – ибо после того, как прочли над ним заклятие и помазали лоб, угнездившийся в нем дух вскрикнул и тем открыл себя епископу, но изгнать его не удалось, – распорядился взять несчастного под внимательный надзор, чтобы не вносить возмущений в среду народа. Потом, однако, в епископский дом пришли жена этого человека и родственники, прося отдать его домой и заверяя, что, когда обходятся с ним ласково, он стихает и не рвется искушать людей; потому его выдали на совесть семьи, и он вернулся домой.

Видя, что это бесстыдство, не излеченное общей неудачей, ползет, как рак, по городу и нет человека, который, вместо того чтобы протопить баню или подать на стол, не норовил бы рассказать каждому о воскресении мертвых и как он сам в этом участвовал, говоря: «Я был с Гаем и Зином» или «Мы прошли туда-то и там торжественно стояли», Григорий хотел взять меры, чтобы римская Церковь на торжестве праведных не оставлена была одна стыдиться о своем осквернении. Приказав собраться городскому клиру, он открыл перед ними книгу и прочел из пророка: «Если страж попустит народу, они в беззаконии своем взяты, а гибель их на нем взыщется». Он сказал, что, призванные блюсти таинство веры в чистой совести, они с самого утра бросили все дела, дабы приветствовать языческого императора, который всю жизнь провел в воле дьявола, да еще и принял по его внушению жреческий сан, меж тем как по пришествии Господа нашего Иисуса Христа навеки разделены священство и царство; более того, столь любезный им, римским клирикам, император, ради которого они снялись с

места, как птицы осенью, в свое время объявлен был от народа богом, а как требище его еще уцелевает, ничто не препятствует им пойти туда, благо у них есть навыки служить при божестве и заискивать у народа; но не для того Господь в их городе обратил в ничто всех богов, так что немногие из спасшихся не имеют родства в тачке с известью, чтобы римский клир, славный святостью в пору гонений, обращался, как пес, на заблеваемые места. Напоследок он запретил в служении тех, кто вышел во главе шествий; впрочем, задержав их, после того как отпущены были другие, говорил с ними милостиво, надеясь оправдать суровость приказа целительным его действием.

Тем временем подошел срок выводить гарнизон из города. Григорий принужденным нашелся принять равеннского офицера, дабы внушить ему снисходительный взгляд на произошедшие в его присутствии беспорядки; затем передал офицера своему нотарию, мастеру уговаривать, а сам, в ожидании, когда кончится уединенный их разговор, приметив заглянувшего в двери нищего, остановил его, чтобы подать, что при нем было, хотя тот из благочестия отказывался брать у епископа. Вышедший офицер, когда Григорий благословлял его в путь и прощался, между прочим заметил, что ни испытанная любезность римского владыки, ни всем известная суетность народных влечений не позволили бы ему дать всему виденному в городе дурное истолкование пред лицом экзарха. Потом нотариус подал в канцелярию отчет о беседе, из которого следовало, что они легко вышли из этого положения, а кажется, офицеру жаловаться не на что и все между ними улажено, за что благодарит он Божию снисходительность к ним обоим. От Остийского конца войска миновали Большой цирк; прошед аркой Севера, спустились с холма и вывернули к Субуре, где начальник конницы принял благословение от настоятеля Святой Агаты Готской. Наконец близ древнего поля Агриппы, где меж затемно вырубленного хвоща стоял выстроенный для торжественного приветствия Феодосиев полк, войска вышли к Фламиниевой дороге, имея двигаться к Нарни и Фолиньо. Люди, по приказу городского префекта отгонявшие с пути пасшуюся скотину, провожали полки с отчаянием, а когда колонны вышли из городских стен, некоторые увязались за войсками, хотя из задних рядов пытались их прогнать, бранясь и говоря, что это дурная примета, выводить город за собою; и хотя Григорий не думал заботиться об этом особо, но, вернувшись ввечеру, человек, дошедший с войсками до четвертой мили, рассказал, что из придорожного села несколько человек вкупились под охрану шедшего отряда и с ним двинулись на Красные Камни. Предположить можно было, что осторожные аквилейские купцы, зная о скором войсковом проходе, невдалеке несколько дней дождутся его, чтобы обезопасить себе дорогу; теперь оставалось досадовать, что этого не проверили благовременно и что случай поддержать связи с аквилейской кафедрой, доставленный скорбными обстоятельствами, упущен вторично. Об экзархе же, как он принялся в своих краях, больше стало известно, когда потянулись в город беглецы с севера; еще несколько дней смельчаки промышляли тем, что отходили на несколько миль по дороге Святого Ангела, подбирая то, что эти люди бросили из пожитков, предпочитая быстрее оказаться в безопасности: на такой промысел отправлялись по несколько человек, чтобы некоторых, уделяя им потом из добычи равную долю, ставить следить за сполетскими разъездами. Григорий распоряжал расселением беженцев, узнавая от них, что к Перудже стянуты королевские войска, дабы выбить, как предателя, наглухо затворившегося герцога; что армия экзарха действует там, не имея удачи в своих хитростях, и что один римский офицер, раненный в руку, с отрядом в двадцать человек из числа выведенных их Рима, встретился им на дороге и прошел с ними полтора дня до Тразименского озера. Чтобы дать людям надежду и утешение, не зависящие от военного счастья, Григорий решил совершить давно обещанный крестный ход, не напоминая им о покаянии за бывшую выходку; не желая раздражать их уныния, себя самого он, однако же, ограничил в пище и сне, ибо во весь тот злосчастный день был смущен из-за неких знамений, говоривших, что мольба его о воскрешении императора исполнена, а потому не препятствовал идущим; однако ему подобало отнестись к этим знаменьям, как если бы он не верил в их про-

исхождение, иначе это означало бы, что он о своих силах непомерного мнения. Он решил совместить общее шествие с торжественным крещением, которому подошел срок. Баптистерий был приведен в порядок, возжены благовонные свечи; из Латеранского храма вынесли крест из древа Креста Христова, украшенный золотой работой; колокола зазвонили; при пении гимнов могущему Богу римский клир под началом святителя, ведущий за собою народную толпу и провожаемый копьями и стягами Феодосиева полка, вышел из города Остийскими воротами, на которых поставлен был маяк с дозором за вражеским приближением, и, почтив честную смерть апостола Павла, двинулся далее, имея целью некоторые святыни и чтимые гробницы вдоль дороги. На пятой миле утомленное общество остановилось близ одного селения, иные нашли себе место под крышей у знакомых, а Григорий поутру служил в здешней церкви с ее клиром. По окончании службы настоятель просил у епископа беседы наедине и в ризнице сказал ему следующее:

«Я хотел поведать тебе, ничего не скрывая, одно происшествие, которое всех здесь удивило; уповаю, что все мы вели себя достаточно благоразумно. Недели три назад, как отпели вечерню, увидели мы на паперти одного человека, который словно опасался войти в храм и стоял на солнце. Он был лет шестидесяти, высокий, седой, с большими глазами и приветливый. Никто не знал его, и мы спросили, чего ему надобно. Он нас не сразу понял, а когда отвечал, то не поняли мы, произношение его было не местное, но склад не варварский и учтивость не такая, как бывает от бедности. Не разумея, откуда он и для чего пришел – а иным казалось, что он и сам того не знает, – мы не ведали, как с ним обращаться; он, однако, вывел нас из затруднения, прося самым настоятельным образом научить его нашей вере. Мы смутились, он упорствовал, и дело тем кончилось, что мы его оставили при церкви. Наш дьякон учил этого человека, когда мы сделали его христианином, а он помогал при церкви и на той земле, что у нас есть. Некоторые дети, соблазненные его тайною, ходили к нему, когда он отдыхал после работы; он с ними беседовал охотно, но рассказывал им сказки, услышав о которых от своих детей наш дьякон ужаснулся их языческим нелепостям, так что мы просили этого человека сказок впредь не рассказывать, и он с готовностью, какую всегда обнаруживал, подчинился нашей просьбе. В наших беседах он удивлялся прежней враждебности к христианам и в действиях властей винил постыдное доноительство; мы сказали, что все это было к славе Божией; то, что он узнал о людях, исповедавших веру даже до смерти, его успокоило, и он просил кое-что пересказать и вдаваться в подробности; он дивился их невозмутимости и заметил, что теперь власть переменилась к ним, и это говорит о ее благоразумии. Он спросил, благополучно ли государство в этом выборе, который оно сделало, и считается ли Дунай и наведенные на нем мосты безопасными. Когда же мы отвечали, что о германских землях нам ничего не известно, а город много терпит от врага, чье право действует отсюда в восьмидесяти милях, он переменился в лице самым жалостным образом и до вечера ничего не мог делать, так что его оставили в покое и ничего не требовали, но к концу дня пришел к дьякону с извинением, что не дает ему отдохнуть после вечерни, и просьбою продолжить обучение христианству, и особенно рассказать ему о славе Божией, и тот ради исповедания веры с кротостью, как это полагается, рассказал все, что было можно, и отчасти его утешил. Так этот человек жил у нас спокойно, и я для краткости упомяну только самое примечательное, а теперь подхожу к концу. Пользуясь крепким здоровьем и лишь иногда жалуясь на боли в суставах, он однажды заболел и не хотел в том признаваться, выйдя служить как обычно, но через день слег; из-за этого мы с ним не выдержали обычного срока просвещения и записали его в книгу, вместе с двумя сыновьями нашего дьякона, ибо больше никого у нас не было, еще прежде середины поста, и в этом мы погрешили. Он совершил перед нами отдавание символа, мы сообщили ему молитву Господню, которую выслушал он с радостью, и крестили его, примечая близость смерти и скорбя от вынужденной спешности, ибо по разуму его и навыку к службе думали по некотором времени видеть его в нашем причте. Но, будучи крещен и причащен Святых Таин, он чудесным образом поправился, и мы

поражались той скромности и вниманию, как он ходил пред нами и исполнял все положенное, и мы говорили об этом с обоими нашими дьяконами. Он обыкновенно ночевал не в нашем доме, где мы отвели ему место, но на селе у людей, с которыми свел знакомство. Он ушел на вечер в гости к одному из ремесленников и оттуда послал за священником. Я застал его на сене в сарае, куда хозяин пускал его спать; он исповедался и умер с чрезвычайной нежностью, смущенный тем, что не может выказать мне благодарность за все, что я для него сделал. (Я рассказываю об этом не из тщеславия, а чтобы ничего не упустить.) Мы оставили его там до утра. Ночью сосед этого ремесленника застал у себя во дворе кого-то, казавшегося ему вором; и поскольку нас, по милосердию Божию, обошел новый жестокий обычай, что с обличенным вором до света можно обращаться по своему усмотрению, но нельзя убивать его при солнце, он только угрозами загнал этого человека и запер в сарае, который у них на двоих общий, дабы утром предать на суд Божий. Поутру ремесленник пришел отпереть сарай, но сосед, выбежав из дому, просил того не делать, затем-де, что заперт у него там с самой ночи ведомый вор; однако ремесленник, которому следовало забрать покойника, открыл сарай, не слушая предупреждений, и в увиденном пленнике узнал одного человека, ему знакомого, чью честность он довольно знал, а потому обратился к соседу с просьбой выслушать обвиняемого в воровстве. Тот, получив слово, умел внятно объяснить, для чего оказался ночью на чужом дворе, а ремесленник готов был за него заступиться, так что сосед согласился с его ручательством, тем более что дело действительно можно было объяснить по-разному. Взяв покойника, мы отпели его с большим сожалением и погребли на кладбище, куда сейчас после дождей через балку не перейти. В сомнении, верно ли мы поступали, я решил подвергнуть эту историю твоему суду и всем распоряжениям, какие ты сочтешь справедливыми».

Когда пресвитер кончил свою речь, прибавив кое-какие подробности, о которых, чтобы утвердиться в своих догадках, допытывался епископ, то Григорий, взволнованный, обнял и поцеловал его, а затем взял с него клятву не распространяться об этом случае, присовокупив все уверения, какие могли его успокоить. За всем тем он остерегся открыть пресвитеру, несмотря на удивление последнего, занимавшие его мысли, из боязни, что соблазнит его нарушить молчание и, разгласив дело, лишит пользы урок, явственно преподанный от Бога, Который ради утешения, обещанного верным, поставил смирение выше всякого дарования и добродетели.

По безводным местам

Sub umbra dormit, in secreto calami. – Iob.

Сочинения, вышедшие из-под пера жителей Рима в последней четверти IX – первой четверти X века, не останавливают читательского взора ничем, кроме своей нищеты. После Анастасия Библиотекаря (ум. 879) не замечается никого, кто возвышался бы над общим уровнем невежества и посредственности. Когда в ноябре 915 года Беренгарий пришел в Рим за императорским венцом, сенаторы приветствовали его, по выражению панегириста, «отеческой речью», то есть на латыни; однако грубая аллегория, какую они сопровождали и поясняли свои благословения⁷, показывает, что красноречие не было для них предметом ни особенных надежд, ни попечений. В этих обстоятельствах внимание исследователя невольно развлекается вещами, участью которых, будь они порождены более плодотворной эпохой, стало бы заслуженное забвение.

В 1908 году Альберт Краузе опубликовал несколько латинских прозаических отрывков из архива римского монастыря Св. Пракседы, не включенных в собрание Пьетро Феделе (*Tabularium S. Praxedis*, in: *Archivio della Società Romana di storia patria*, 1904–1905). Один из фрагментов, надписанный *leoncii agit. de s. anastasio*, представляет собой толкование на евангельскую притчу о нечистом духе (Мф. 12:43–45; Лк. 11:24–26). Приведем его полностью с аппаратом параллельных мест по публикации Краузе⁸.

*Cum immundus spiritus exierit de homine, perambulat per loca inaquosa. Quamvis simpliciter intelligi possit⁹, Dominum haec ad distinctionem suorum et Satanae operum adiunxisse, quod scilicet ipse semper polluta mundare, Satanus vero mundata gravioribus festinet attaminare quisquiliis, tamen et de haeretico quolibet, vel schismatico, vel etiam malo catholico, potest non inconvenienter accipi. Baptismate patrato Spiritus immundus qui in eo prius habitaverat, ad confessionem catholicae fidei, abrenuntiationemque secularis conversationis eiiciatur locaque inaquosa peragret, id est, corda fidelium quae a mollitie fluidae cogitationis expurgata sint, callidus insidiator exploret, si quibus suae nequitiae vestigia firmare¹⁰ possit. Sed bene dicitur: *Quaerens requiem et non inveniens*, quia castas mentes effugiens, in solo diabolus corde improborum exoptatam sibi potest invenire quietem. Unde de illo Dominus: *Sub umbra dormit in secreto calami, et locis humentibus*¹¹. In umbra, videlicet tenebrosas conscientias; in calamo, qui foris nitidus, intus est vacuus, simulatrices; in locis humentibus, lascivas mollesque mentes insinuans. Alio sensu, secundum beatum Gregorium¹², per umbram, recedente charitate, torpor frigidae mentis exprimitur, sicut de peccante homine scriptum est, quia secutus est umbram. Behemoth quia in talibus quamdam requiem invenit, quos a veri solis ardore subtrahendo frigidos facit, sub umbra dormire perhibetur. Dormire enim in sanctorum mentibus non potest, quia et si quando se in eis ad breve momentum collocat, ipse eum desideriorum coelestium aestus fatigat, et toties ut recedat pungitur, quoties ab eis amore intimo ad aeterna suspiratur.*

⁷ Gesta Berengarii imperatoris. IV. 114 sqq.: Namque prius patrio canit ore senatus, Prefigens sudibus rictus sine carne ferarum Indicio: «Devicta cadent temptamina posthac, Si qua hostes animo cupient agitare ferino». («Деяния императора Беренгария»: Ибо сенат возглашает отеческой речью, насадив на колья голые черепы зверей и тем указывая: «Если враги устремятся в зверином пылу, падут побежденные покушения» (лат.). Примеч. ред.)

⁸ Krause A. Drei jüngst entdeckte Prosa-Fragmente aus dem römischen Praxedis-Kloster // Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin: Aus den Jahren 1907 und 1908. Berlin, 1908. Abh. II. S. 1–24.

⁹ Beda Venerabilis. Exp. in Lucae Evang. IV (PL 92, 478–479).

¹⁰ Verg. Aen. III. 659: vestigia firmat; Claud. Rapt. I. 19: firmat vestigia.

¹¹ Iob. 40:16.

¹² Greg. Magn. Moralia. XXXIII (PL 78, 673–674).

Dicit: Revertar in domum meam unde exivi. Timendus est iste versiculus, non exponendus, ne culpa quam in nobis exstinctam credebamus, per incuriam nos vacantes opprimat.

Itaque domum dilectam animo gerit, quaerens qua revertatur copiam¹³; *et cum venerit, invenit scopis mundatam*, hoc est, expulsus maluit relictos petere penates¹⁴, quam per scabrosa avia sine fine vehi¹⁵, invenit tandem casulam suam gratia baptismatis a peccatorum tabe castigatam, sed nulla boni operis industria cumulatam. Unde bene Matthaeus hanc domum vacantem, scopis mundatam, atque ornatam dicit inventam: mundatam videlicet a vitiis pristinis per baptismum, vacantem a bonis actibus per negligentiam, ornatam simulatis virtutibus per hypocrisin.

Et tunc vadit, et assumit septem alios spiritus nequiores se, et ingressi habitant ibi. Per septem malos spiritus, vitiorum designat communitatem. Quemcunque enim post baptisma, sive pravitas haeretica, seu secularis cupiditas arripuerit, mox omnium se prosternet in barathra vitiorum. Unde recte nequiores tunc eum spiritus, agmen triste, dicuntur ingressi. Quia non solum habebit illa septem vitia, quae Septem spiritalibus sunt contraria virtutibus, sed et per hypocrisin, ipsas se virtutes habere simulabit.

Et sunt novissima hominis illius peiora prioribus. Melius quippe erat ei viam veritatis non cognoscere, quam post agnitionem retrorsum converti. Sed Orci veniente ministro, casula carcer fit, casta prius, nunc autem vipereo gelu fumata, spes pulsa protinus perit¹⁶; nihil tibi, miser, relinquitur, quo salutem tuam vitamque tuearis¹⁷. Agonista contra diversa inimicorum iacula uno utitur ancili, tu autem et huius unius indiges, quo te incolumem relinqui oporteat¹⁸.

His addam parabolam aptiorem. Erat vir dives, multis honoribus opibusque illustris, sed in equis suis praecipuam ponens famam: erant enim aves quadrupedes, aquila et falcone ociores. Forte domo egressus et iuxta silvam patentem ambulans¹⁹, pedem equinum mediis dumis invenit, adhuc sanguine fervidum. Timet igitur, ne unum suorum equorum lupi interfecerint, monstra horrentia et nigra²⁰, quorum in saevis faucibus numquam ira quiescit²¹, neve, cetera carne devorata, in latebras abierint, relictam partem satietate contemnentes. Pavor inanis cogit credere omnes ei periisse, cum de unius iactura nesciat. Tantam equi pulcherrimi in erili pectore excitarunt tempestatem, ut a magna temeritate immunis remanere non posset. Pede itaque sublato festinat scisciturus, quid in stabulis agatur. Dum autem cum flavicoma virga, ieiunis illaesa morsibus²², ad illam daedaleam caecam²³, qua clauduntur equi, appropinquat, unus stratorum, dominum prospiciens: «Quid, ait, tam bene pedatus ad nostra limina advenis?»

Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. Хотя это можно понимать просто, именно, что Господь прибавляет это для различения Своих дел и дел Сатаны, то есть что Он всегда спешит очистить оскверненное, Сатана же – очищенное испятнать грязью еще гуще, однако это вполне уместно будет приложить к любому еретику, схизматику или даже дурному католику. После крещения нечистый дух, обитавший в нем прежде, при исповедании католической веры и отречении от мирского образа жизни изгоняется и ходит

¹³ Ambros. De poen. I. 25: patriam secum animo vehat, quaerat copiam quemadmodum revertatur.

¹⁴ Arat. Act. Apost. II. 688: pulsique fugam petiere Penates.

¹⁵ Theod. Aurel. Contra iudices. 25: scabrosa per avia vecti.

¹⁶ Arat. Act. Apost. I. 1018 sq.: coeli veniente ministro, / carceris umbra fugit; pulsae periire tenebrae; II. 1181: vipereo fumante gelu.

¹⁷ Ambros. De Isaac. 2: Intuere igitur, o homo, qui sis, quo salutem tuam vitamque tuearis.

¹⁸ Act. IV. 12: Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri.

¹⁹ Sedul. Carm. pasch. I. 97 sq.: silvamque patentem / ingrediens.

²⁰ Verg. Aen. III. 658: monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum.

²¹ Sedul. Carm. pasch. I. 218: saevisque in faucibus ira quievit.

²² Sedul. Carm. pasch. I. 173: tradidit inlaesam ieiunis morsibus escam.

²³ Sedul. Carm. pasch. I. 43 sq.: Quid labyrintho, Thesidae, erratis in antro / caecaque Daedalei lustratis limina tecti?

по безводным местам, то есть по сердцам верных, которые очищены от податливости зыбких помыслов, выведывая, искусный козноворец, можно ли ему где-нибудь утвердить стопы своего беззакония. Но хорошо говорится: *Ища покоя и не обретая*, ибо, избегая целомудренных душ, только в сердце порочных может обрести себе дьявол желанный покой. Поэтому говорит о нем Господь: *В тени он спит, в укрове тростника, в местах сырых* (Иов 40:16). В тени, то есть в сумрачных совестях; в тростнике, который снаружи лоснится, внутри же пуст, – водворяясь в притворчивых душах; в местах сырых – вкрадываясь в умы распущенные и изнеженные. В другом смысле, согласно блаженному Григорию, под тенью понимается оцепенение холодного ума, когда удалится от него любовь, как о согрешившем человеке написано, что он ищет тени. Так как Бегемот обретает в таких людях некий покой, уводя их прочь от зноя истинного солнца и наполняя холодом, говорится, что он спит в тени. Ведь невозможно ему спать в душах святых, ибо, если он и водворяется в них на краткий миг, томит его зной небесных желаний, и только что уязвляет его, понуждая уйти, колькрат внутренняя их любовь стремится воздыхания к вечному.

Говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. Страшиться следует сего стиха, а не толковать его, дабы вина, которую почитаем мы уничтоженной, из-за нашей беззаботности не застигла нас незанятими.

Итак, он лелеет в душе возлюбленный дом, ища возможности вернуться; *и пришед, обретает его выметенным и убранным*, то есть, изгнанный, предпочитает направиться в оставленные пенаты, а не влачиться без конца по грубому бездорожью, и обретает напоследок домик свой благодаря крещению очищенным от гноя грехов, но ничем не наполненным благодаря усердию в добрых делах. Посему хорошо говорит Матфей об этом доме, что он обретается незанятым, метлами очищенным и убраным: очищенным от былых грехов посредством крещения, незанятым добрыми делами по нерадению, убраным притворными добродетелями по лицемерию.

И тогда идет, и берет с собою семь иных духов, худших себя, и, войдя, живут там. Семью злыми духами он обозначает общность пороков. Ведь всякий, кем по крещении завладеет или еретическая кривизна, или мирская страсть, скоро ввергается в бездну всех пороков. Поэтому справедливо говорится, что вошел тогда в него угрюмый полк, худшие духи. Он ведь не только те семь пороков стяжает, что противны семи духовным добродетелям, но и от лицемерия будет притворяться, что стяжал сии самые добродетели.

И бывает человеку тому последнее горше первого. Лучше было ему не знать стези истины, чем, узнав ее, повернуть вспять. Но когда приходит слуга Орка, делается темницею домик, прежде чистый, а теперь продымленный змеиною стужей, тотчас гибнет изгнанная надежда; ничего не остается тебе, несчастный, чем уберечь свое благоденствие и жизнь. Противу многих вражеских дротов боец пользуется одним щитом, ты же и того единого не имеешь, помощью которого надлежало тебе уцелеть.

Прибавлю к этому уместную притчу. Был один богатый человек, славный многими санями и казной, но преимущественную свою славу полагавший в своих конях: то были птицы четвероногие, быстрее орла и сокола. Как-то раз выйдя из дома и гуляя близ обширного леса, находит он среди ежевичных зарослей лошадиную ногу, еще горячую от крови. Он опасается, не одного ли из его коней зарезали волки, чудища косматые и черные, в чьих свирепых глотках никогда не утихает голод, – не ушли ли в пещеры, сожрав остальное мясо, а оставшейся частью пренебрегши от сытости. Пустой страх понуждает его думать, что погибли все, хотя он и о потере одного не знает наверное. Такую распрекрасные кони подняли бурю в хозяйском сердце, что он не мог удержаться от великого безрассудства. Итак, подняв ногу, он спешит сведать, что творится в стойлах. И меж тем как он с рыжекудрой ветвью, не поврежденной голодными укусами, близится к темному Дедалову зданию, где запирают коней, один из конюхов, завидев хозяина: «Чего ради, – говорит, – приходишь к нашему порогу, так хорошо оснащенный ногами?»

Текст, распадающийся на две слабо связанные части, очевидно, не закончен: либо автор не дал ему завершения, либо это утрата, которою мы обязаны рукописной традиции. Краузе указал, что в части экзегетических источников этот фрагмент совершенно избегает влияния и Амвросия, и Иеронима, вследствие чего остается чужд характерной для них антииудейской полемики; зато он рабски зависит от евангельских толкований Беды Достопочтенного, прямо или через «Комментарии на Матфея» Рабана Мавра; текст Беды воспроизводится почти без изменений, не считая вставки из «Моралий» Григория Великого. Для второй части, которую автор назвал «притчей», Краузе не находит источников. Вообще он чрезвычайно резко отзывался как об интеллектуальной состоятельности изданного им автора, так и о качествах эпохи, его воспитавшей; в ее характеристике он поднимается едва ли не до гиббоновской *splendida bilis*²⁴. Он замечает за автором богатые сведения в раннехристианской литературе, но также и оскорбительную небрежность, с какою он пускает их в дело; употребление, которое он дает самым благочестивым цитатам, иногда поразительно по небрежности и нежеланию считаться с контекстом; особенно возмущает Краузе реминисценция из трактата святого Амвросия «О покаянии». Впрочем, говорит Краузе, тому, кто видел, как каролингские авторы, желая похвалить уважаемого покойника, украшают надгробное слово цитатами из «Апоколокинтосиса», ухватки нашего автора не покажутся чем-то беспримерным.

В притче о лошадиной ноге, по его мнению, особенно силен контраст между пышностью языка, едва не целиком сотканного из поэтических обрывков²⁵, и скудостью и нелепостью содержания. Краузе говорит, что не понимает, каким образом эта притча должна иллюстрировать экзегетические банальности Леонтия, и сомневается, что она выполняла бы свою задачу лучше, сохранись она в целости. По его мнению, мы имеем дело с двумя отрывками, лишь случайно соединенными, поскольку были переписаны без ведома автора – скорее всего, после его смерти.

В следующие несколько десятилетий к Леонтиеву фрагменту не обнаруживается интереса; в частности, его ни словом не упоминает М. Манициус в первом томе «Истории латинской литературы Средних веков» (1911). Единственное исключение – небольшая публикация Г. Киппенберга²⁶, приведшая к уточнению датировки. Краузе отнес фрагмент к середине – второй половине IX века, однако Киппенберг связал надписание *leoncii agit. de s. anastasio* с неясной фигурой монаха Леонтия, известного по нескольким документам в монастыре Св. Анастасия, одном из старейших и важнейших римских монастырей, с 901 по 911 год; о нем говорится, что он был *vir litterarum peritus*, «человек, искушенный в словесности», и что он *de temporum cursu scripsit*, «писал о ходе времен» (возможно, еще одно свидетельство его знакомства с трудами Беды). Киппенберг понимает *leoncii agit.* как *leoncii agitatoris*, высказывая предположение, что Леонтий был в своей мирской жизни погонщиком ослов или мулов (что не очень сочетается со знанием словесности, однако возможно, что Леонтий попал в монастырь в юные годы и здесь получил образование) или отправлял такую службу уже в обители.

Положение меняется со статьей А. Гулле²⁷. Он, вопреки Краузе, считает текст монаха Леонтия цельным произведением, усматривая его единство в том настороженном отношении

²⁴ «Падшая власть уже не удерживала частных честолюбий, а общее невежество, придавая силы страстям, укрывало их тьмой безвестности, подавая, таким образом, больше поводов отчаянию историка, чем ожесточению моралиста» (*Krause. Op. cit.* S. 7).

²⁵ Д. Мердок в своей монографии (*Murdoch D. Angustum hospitium: The Medieval Latin Centos*. Woodbridge, 2001) рассматривает Леонтия как представителя «ненамеренного центона» (*unintended cento*), возникающего там, где к шаблонам классической поэзии, усвоенным на школьной скамье, относятся как к спoliaм, без всякого желания «заглублять дно» своих стихов (р. 121–123). Статья А. Гулле (см. ниже), по-видимому, ему незнакома или он считает излишним с ней спорить.

²⁶ *Kippenberg H. De Leontii monachi vita et operibus // Acta historica Bremensia*. 1929. Bd. 21. Fasc. 2. S. 56–70.

²⁷ *Goullet A. La topographie de l'enfer classique dans la satire monastique du dixième siècle // Mélanges offerts à M. Étienne Latour*. Paris, 1986. P. 208–223.

к классической литературе, какое в следующем столетии выразится у бенедиктинца Радульфа Глабра (Hist. II. 12). Некий равенец Вильгард, по рассказу Радульфа, так увлечен был изучением грамматики и такою гордостью наполнился от своих познаний, что однажды ночью к нему явились демоны в облике Вергилия, Горация и Ювенала, благодарившие его за преданность и обещавшие долю в их бессмертной славе; обманутый их обещаниями, Вильгард впал в ересь, проповедуя, что словам поэтов надлежит верить во всем, и был осужден равенским епископом²⁸. Сочинение Леонтия, по мысли Гулле, должно было стать сатирой на тех христиан, что забывают свои обязанности, слишком погрузившись в занятиях латинскими поэтами.

Для притчи Гулле указывает параллель в прозаическом вступлении сатирической поэмы «Deuterodia» Ламберта из Ставло (930-е гг.): *Viva sepultis temerarie admiscentem, subsannabit me, ut reor, etiam agaso meus* («Если я стану безрассудно смешивать живое с погребенным, осмеет меня, думаю, даже и мой конюх»). Гулле считает, что оба, Леонтий и Ламберт, основываются на притче, известной в раннее Средневековье, но не дошедшей до нас в других источниках; содержание ее можно восстановить следующим образом: человек, найдя у дороги отгрызенную конскую ногу, идет с ней в конюшню, где конюх потешается над глупостью такой затеи (в самом деле, что он хочет делать с этой ногой – примерить, какому из коней она подойдет? а если и впрямь найдет такого, как поступит?..). По мысли Гулле, изображенный Леонтием глупец с отъеденной ногой в руках, силящийся приставить ее живому коню, – насмешка над безрассудным почитателем древности, который ее мерками пытается мерить нынешнюю жизнь. Примечательно, что у Ламберта этот образ появляется в таком же контексте (издевательство над педантической ученостью льежских клириков) и заостряется иронической отсылкой к латинской классике: *Quid viva sepultis / admiscet?*²⁹ – говорит у Клавдиана (Rapt. II. 221 sq.) Паллада Плутону, беззаконно переступающему границу между миром живых и мертвых. Сходным образом у Леонтия мир любителя древней словесности оказывается травестированной преисподней «Энеиды».

Прежде всего, лошадиная нога именуется *flavicomā virga*, *рыжекудрая ветвь*: для Краузе это одна из вычур нищеты, характеризующих стиль Леонтия, Гулле же видит здесь отсылку к золотой ветви, с которой Эней входил в преисподнюю (*virga*: Aen. VI. 144, 409; *auricomos... fetus*: VI. 141). Кроме того, Леонтий называет ее *adhuc sanguine fervidum*, *еще горячая от крови*: деталь, по мнению Гулле, основанная на магических обрядах лукановской Эрихто (Phars. VI. 667):

pectora tunc primum ferventi sanguine supplet
прежде всего поит она грудь кипучею кровью —

однако взятая не прямо из Лукана, а из Сервия, цитирующего этот стих применительно к некромантии Энея³⁰. Таким образом, конская нога в руках Леонтиева глупца, как золотая ветвь

²⁸ В связи с этим анекдотом Гулле указывает на одну классическую аллюзию у Леонтия, не отмеченную Краузе: описание волков (*monstra horrentia et nigra*) – отсылка не только к вергилиевскому описанию Полифема, но и к Седулию, самому цитируемому у Леонтия автору: *niger, hispidus, horrens* (Carm. Pasch. III. 84) говорится у него о стаде свиней, в которых вошли бесы. Это связывает притчу Леонтия с основной темой первой, экзегетической части (одержимость бесами). Кроме того, находясь рядом с этими словами у Седулия выражение *tristesque phalanges* (v. 83, о сонме бесов) Гулле склонен считать образцом для *agmen triste*, вклинивающегося у Леонтия в текст Беды.

²⁹ Что смешиваешь живое с погребенным? (лат.). Примеч. ред.

³⁰ *Praeterea ac si diceret: est et alia opportunitas descendendi ad inferos, id est Proserpinae sacra peragendi. Duo autem horum sacrorum genera fuisse dicuntur: unum necromantiae, quod Lucanus exsequitur, et aliud sciomantiae, quod in Homero, quem Vergilius sequitur, lectum est. Sed secundum Lucanum in necromantia ad levandum cadaver sanguis est necessarius, ut *pectora tunc primum ferventi sanguine supplet*, in sciomantia vero, quia umbrae tantum est evocatio, sufficit solus interitus: unde Misenus in fluctibus occisus esse inducitur* (Serv. Aen. VI. 149).

в руках Энея, ведет его в преисподнюю и, как лужа свежей крови, обеспечивает ему общение с покойниками³¹.

Благодаря выражению *cetera carne devorata*, *остальная плоть сожрана*, волки сопоставляются с Кербером (через известную этимологию у Фульгенция³², Myth. I. 6: *Cerberus vero dicitur quasi creoboros, hoc est carnem vorans*³³). Далее, конюшня, куда приходит глупец, именуется *daedaleam саесам*, *темной Дедаловой постройкой*. Это, конечно, отсылка к «Пасхальной песни», как указал Краузе, но важно, к какому именно месту. Седулий, обращаясь к «Тесеевым потомкам», спрашивает, долго ли они будут блуждать в лабиринтах и приходить на мглистый порог Дедалова здания (то есть теряться в запутанной и неозаренной языческой мудрости, вместо того чтобы обратиться к евангельскому учению). Это вполне соответствует общей мысли Леонтиева фрагмента, как ее понимает Гулле, и делает отсылку к этому пассажи «Пасхальной песни» более чем уместной. Но, кроме того, выражение *daedaleam саесам* очередной раз переосмысляет в пародийном ключе катабасис Энея. Эпитет *саесус* появляется в VI книге «Энеиды» трижды, в том числе один раз в значении «темный», как у Леонтия (v. 734: *carcere саесо*), и один раз в связи с Дедалом (v. 30: *саеса regens filo vestigia*). Дедалу посвящен объемный пассаж в самом начале VI книги, где описывается построенный им храм (v. 13–33) с изображением лабиринта на дверях³⁴ (v. 27). Дедалова постройка, предваряющая у Вергилия сложную архитектуру преисподней, служит ее предвестием и символом, а конюшня, названная *daedalea саеса*, становится еще одним неуважительным образом мглистого ада классической литературы. Наконец, самую разительную травестию представляет собой реплика конюха, обыгрывающая обращение Харона к Энею (Aen. VI. 388 sq.):

Quisquis es, armatus qui nostra ad flumina tendis,
fare age, quid venias, iam istinc, et comprime gressum.
Кто бы ты ни был, что устремляешься вооруженным к нашей реке,
говори, на что пришел, прямо оттуда, и сдержи шаг —

причем *armatus*, *вооруженный*, превращается в комическое *pedatus*, *снабженный ногой*.

В 1997 году вышла статья Артура Босуэлла «Леонтий и Авксилий: римская некромантия в зеркале политического памфлета»³⁵. Босуэлл обращает внимание на близкое сходство между некоторыми пассажами у Леонтия и в трактате Авксилия Неаполитанского «*Infensor et Defensor*» (ок. 911). Авксилий, клирик из Неаполя, получивший рукоположение от папы Формоза (891–896), ужасной посмертной участью сего последнего вызван был на беспокойное поприще публициста. В четырех трактатах, написанных за несколько лет, он доказывает каноничность рукоположений, совершенных Формозом, оплакивает остервенение Стефана VI, устроившего посмертный суд над своим предместником, и ополчается против Сергия III, который немедленно по вступлении на престол (904 г.) вновь осудил Формоза и объявил все совершенные им рукоположения недействительными³⁶. «*Infensor et Defensor*», сочиненный по

³¹ Т. Картлидж (*Cartlidge T. Sedulius in the Middle Ages*. Chicago, 2003. P. 74) замечает, что отъеденная нога, *ieiunis illaesa morsibus*, между прочим, чрезвычайно точно характеризует степень сохранности классической римской литературы.

³² Или через Исидора, рецепирующего Фульгенция (Etym. XI. 3. 33). О распространенности этой этимологии и трактовке Керберы как «пожирателя плоти» см. классическую статью: *Savage J. The Medieval Tradition of Cerberus // Traditio. Vol. 7 (1949–1951). P. 405–410.*

³³ Имя Кербер — как бы *creoboros*, то есть «пожиратель плоти» (лат.). *Примеч. ред.*

³⁴ Стоит вспомнить, что эти двери Дедалова храма впоследствии аллегорически трактовались как введение в искусства, то есть изучение классических авторов: «*In foribus, id est in introitu ad artes, scilicet in auctoribus*», говорит Бернард Сильвестр (ad loc.). Возможно, такая аллегореза имела хождение уже во времена Леонтия.

³⁵ *Boswell A. Leontius and Auxilius: Roman Necromancy in the Mirror of a Political Pamphlet // Schede Medievals 20 (1997). P. 325–345.*

³⁶ Подробнее об Авксилии см.: *Manitius M. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Bd. I. Von Justinian bis zur*

просьбе Льва, епископа Нолы, и написанный в форме диалога между защитником Формоза и его обвинителем, был последним из полемических трудов неаполитанца.

Босуэлл отмечает фразу о бойце, отражающем множество вражеских дротов одним и тем же щитом: у Авксилія она применена к ситуации, когда разные представления оппонента можно отразить одним доводом, у Леонтия – к единственному оружию, которое потребно человеку в брани с бесами³⁷, но сходство выражений таково, что едва ли можно счесть его случайным. Единственное интересное расхождение заключается в названии для щита: там, где Авксилій пользуется расхожим *scutum*, Леонтий выбирает нетривиальное *ancile*, в собственном смысле относящееся к священному щиту, упавшему с неба в царствование Нумы (и оттого названному у Ливия *небесным оружием*, *caelestia arma*: I. 20. 4): такой лексический выбор мотивирован тем, что под этим оружием у Леонтия, по-видимому, понимается благодать. Кроме того, Босуэлл указывает на фразу «*Tantum equi pulcherrimi in pectore domini excitantur tempestatem, ut a magna temeritate immunis remanere non posset*»³⁸, сопоставляя с ней реплику Обвинителя о Формозе: «*Et Formosus qui procellas excitare non veritus est, a tanto discrimine velut immunis remansit*»³⁹ (1089D); помимо прочего, *pulcher* и *formosus* – синонимы. Это ставит вопрос о соотношении двух текстов и о том, что их родство говорит о жанре и целях Леонтиева фрагмента.

Босуэлл считает Леонтия, подобно Авксилію, одним из полка полемистов, призванных к работе беспримерными обстоятельствами и решениями Трупного синода 897 года; ближайшим поводом для Леонтия могли стать первые действия Сергия III, которые он, живучи в Риме, мог, в отличие от Авксилія, наблюдать непосредственно; но в то время как Авксилій занят почти исключительно канонической стороной дела, Леонтия поражают крайние формы ожесточения, свойственного гонителям памяти Формоза. Ему должен быть близок дух благоразумного Иоанна IX, чей собор 898 года воспретил на будущее всякий суд над умершими, и он с сочувствием прочел бы тот пассаж Авксилія, что кончается словами несчастного троянского царевича (Аеп. III. 41–42):

«Обвинитель. Стефан, третий от Формоза папа, счел Формоза преступником и велел труп его вытащить из могилы и притащить на собор; там его, совлеки прежние одежды, покрыли мирским платьем и, отрубив мечом два пальца правой руки, похоронили в какой-то могиле чужезмцев, а немного позже швырнули в реку Тибр.

Защитник. Словно звери, не помнящие о человечности, они по своему разумению и действовали. Где эти злосчастные научились такому, учитывая в особенности, что Господь не сказал: „Все, что свяжете под землей или в реке“, но говорит: „Все, что свяжете на земле, будет связано и на небесах“ (Мф. 18:18)? О таких говорит Апостол, что „имеют ревность Божию, но не по разуму“ (Рим. 10:2). О злодеяние! Им следовало внять хотя бы словам поэта:

*Благочестивых рук не пятнай, пощади погребенных!»*⁴⁰

Mitte des zehnten Jahrhunderts. München, 1911. S. 433–439.

³⁷ Авксилій: Si quando necessitas incumbit, non dico bis aut ter, sed etiam centies unum idemque testimonium sinistris argumentationibus fidenter opponam, nec immerito; agonista enim contra diversa inimicorum iacula uno utitur clypeo (PL 129, 1087D). Леонтий: Agonista contra diversa inimicorum iacula uno utitur ancili, tu autem et huius unius indiges, quo te incolumem relinqui oporteat.

³⁸ Такую распрекрасные кони подняли бурю в хозяйском сердце, что он не мог удержаться от великого безрассудства (лат.). Примеч. ред.

³⁹ И Формоз, не убоившийся поднять бури, остался невредим в столь великой опасности (лат.). Примеч. ред.

⁴⁰ INF. Stephanus qui tertius a Formoso exstitit papa eumdem Formosum adeo reprobum esse iudicavit, et cadaver eius de tumulo extrahi et in concilium pertrahi faceret, ibique eum pristinis vestibus denudantes, laico amictu velaverunt, et ferro duobus dextrae digitis amputatis, in quodam peregrinorum tumulo sepelierunt, nec multo post in Tiberinum fluvium praecipitarunt. DEF. Sicuti belluae humanitatis immemores quomodo intellexerunt, ita et operati sunt. Miserrimi ubi hoc didicerunt? praesertim cum Dominus non dixerit, Quaecunque ligaveritis sub terra, vel sub flumine, sed ait: *Quaecunque ligaveritis super terram, erunt ligata et in coelo*. De talibus enim Apostolus dicit, quidam zelum Dei habent, sed non secundum scientiam. Proh scelus! saltem poeticam attendere debuerunt sententiam: Parce pias scelerare manus, iam parce sepulto! (PL 129, 1098).

Босуэлл указывает на то, что выражение *silvam patentem*, заимствованное у Седулия, в «Пасхальной песни» символизирует огромность предмета, за который берется поэт, и если мы не намерены, подобно Краузе, с порога отказать нашему автору в серьезности намерений, нам следовало бы внимательней отнестись к этому выражению. Параллели с трактатом Авксилia обнаруживаются в обеих частях Леонтиева фрагмента, что поддерживает мысль о единстве текста. Целью Леонтия, по мысли Босуэлла, был памфлет на устроителя Трупного синода: владелец конюшни, принесший мертвую конскую ногу в мир живых, – гротескная карикатура на великого понтифика, привлечшего к суду мертвое тело своего врага. Босуэлл снова обращается к выражению *adhuc sanguine fervidum* и соглашается с Гулле в том, что основу ему дает стих Лукана в контексте Сервия, однако делает из этого иные выводы: по его мнению, Леонтий здесь решается на серьезное и нетривиальное, в рамках тогдашней полемики, обвинение организаторов собора если не в некромантии *sensu stricto*, то в магических действиях над трупом, имеющих целью отяготить загробную участь умершего. Мишенью памфлета, таким образом, оказывается не *глупость* человека, не знающего, где место живому и где мертвому, а *кощунство* того, кто одержим ненавистью и не разбирает меж средствами дозволенными и богопротивными (в эпиграф своей статьи Босуэлл ставит остроту Мунация Планка: *cum mortuis non nisi larvas luctari*, «с мертвыми не бьется никто, кроме привидений»). Первую часть текста Босуэлл понимает как вступление, призванное дать аскетико-психологическую характеристику поведению папы Стефана. На вопрос, почему сходство текстов Леонтия и Авксилia обнаруживается во фразах, так сказать, декоративных и не относящихся прямо до существа канонического и нравственного вопроса, Босуэлл отвечает, что незаконченность Леонтиева текста оставляет нам предполагать, что сходство могло в дальнейшем стать обширнее; однако следует думать, что оставшиеся от Леонтия наброски озаботились переписать и пустить в оборот люди, знавшие цель его сочинения, иначе этот фрагмент, конечно, не оправдывал бы труда переписчика. Вопрос, чье сочинение появилось раньше и, следовательно, кто из них зависел от чужого текста, Босуэлл не берется решить положительно: как уединенное положение Леонтия (чей текст уцелел в единственном списке, видимо, благодаря существовавшим между монастырями Св. Пракседы и Св. Анастасия частным связям, реконструировать которые мы не в состоянии), так и отсутствие всяких свидетельств, что полемические трактаты неаполитанца Авксилia получали хождение в Риме в самое короткое время по их написанию, не дают судить о первенстве кого-либо из них с малейшей основательностью; Босуэлл скорее склонен предположить у них общий источник, которым могла быть некая апологетика Формоза, сочиненная сразу после Трупного синода или в связи с вышеупомянутым римским собором Иоанна IX.

Неожиданная реплика в спорах о сочинении Леонтия принадлежит Алессандро Канджамилле. В статье «Оружие против дьявола»⁴¹ он цитирует запись «Краткой хроники Св. Хрисогона» (*Chronicon breve S. Chrysogoni*) под 913 годом: *Beatus Simeon abbas S. Anastasii bona fide quievit. Eodem mense mortuus est Horestes famosus, quem diabolus dicitur esse sectatus, vestigiis adhuc superstitionibus* («Блаженный Симеон, аббат Св. Анастасия, благочестиво упокоился. В том же месяце умер знаменитый Орест, за которым, как говорят, ходил дьявол, и следы доныне остаются»). Можно предполагать, что второе сообщение тоже касается монастыря Св. Анастасия, иначе бы хронист Св. Хрисогона сделал оговорку *in nostro coenobio*⁴², как он поступает в тех несчастных случаях, когда, отвлекшись на внешние события, возвращается к домашним. Кто этот Орест, о смерти которого хронист счел уместным сообщить? Ни один человек с таким именем нам неизвестен для этого периода ни в обители Св. Анастасия, ни в связи с ней. Конечно, само по себе это не говорит ни о чем, кроме скудости наших сведений; однако не будет ли

⁴¹ Cangiamilla A. Arma contra diabolum: le esercitazioni mnemoniche di un monaco romano // Ereuna: Rivista della Società piemontese di psicoanalisi critica. XXIV (1999). P. 185–193.

⁴² В нашей обители (лат.). Примеч. ред.

благоразумно в этом случае поискать там, где светлее? Что, если Орест – не настоящее имя, но классическая реминисценция ученого-монаха, которую мы способны понять не меньше, чем его сотоварищи? Канджамилла напоминает знамени-тое место «Энеиды» (IV. 471–473), где изображается Орест, одновременно терзаемый своей жизнью и представляющий ее на сцене:

aut Agamemnonius scaenis agitatus Orestes
armatam facibus matrem et serpentibus atris
cum fugit, ultricesque sedent in limine Dirae⁴³.

Человек, желающий справиться насчет выражения *scaenis agitatus*, находил у Сервия два толкования: во-первых, это значит «знаменитый (*famosus*), прославленный в трагедиях»; кроме того, «*agitatus* он еще и потому, что впадал в исступление (*furuit*), и о нем есть много трагедий»⁴⁴. Итак, *Horestes famosus* может хотя бы отчасти быть обязан Сервию. Тут Канджамилла напоминает о надписании *leoncii agit. de s. anastasio* и спрашивает, еще ли мы уверены, что Киппенбергер справедливо раскрыл *agit.* как *agitatoris*.

От статьи по вопросам медиевистики, опубликованной в психоаналитическом журнале, стоит ждать достоинств не столько научных, сколько художественных, поэтому мы не станем препятствовать ходу этой мысли, и без нас довольно шаткому, а продолжим с удовольствием следить за ней. Канджамилла считает, что, в то время как *Horestes famosus* хрониста восходит к первому объяснению Сервия, *Leoncius agitatus* нашей рукописи – он предлагает раскрывать *agit.* именно так – имеет основанием второе, отождествляющее *agitatus* и *furens*. Итак, можно предположить, что Орест, упомянутый монастырским хронистом, – намек на Леонтия, приобретшего известность вне стен Св. Анастасия не тем, что писал *de temporum cursu*, но тем, что подобно Оресту, встречавшему Фурий на своем пороге, видел ходившего за ним дьявола, а хронист римской обители Св. Хрисогона знал еще и о каких-то следах этих встреч.

Канджамилла говорит, что не имеет вкуса ни к готическим историям, ни к их разоблачению (хотя и выражает сожаление, что эта хроника не попала в свое время на глаза М. Р. Джеймсу), а потому отказывается давать какое бы то ни было объяснение этим словам. По его мнению, Леонтиев фрагмент – заметка для себя, первая часть которой – выписки, сделанные Леонтием в раздумьях над своим положением и причинами, по которым он в нем оказался (в этом смысле особенного внимания требуют те места, где Леонтий отступает от текста Беды, в особенности комментарий на последний стих, почти полностью принадлежащий самому Леонтию), а вторая имеет мнемонический характер и, как можно предположить, скрывает перечень и порядок средств, которыми он пытался бороться со своим ужасом. Были ли этими средствами псалмы, читаемые в определенной последовательности, или какие-то суеверные обряды, трудно скрываемые в такой тесной среде, какова монастырская, или еще что-то, мы едва ли узнаем. Притча Леонтия, таким образом, – его мнемонический театр, простирающийся от лесной опушки до темных конюшен, от человека с конской ногой под мышкой до насмешливого конюха в дверях, от волков в лесу до коней в стойлах, причем декорации и действующие лица этого театра подобраны и расположены по известному принципу, что вещи, беспримерно гнусные, нелепые или смешные, укореняются в памяти лучше обычных и что если ты хочешь надолго запомнить какой-то образ, созданный твоим воображением, попробуй испачкать его кровью (*Rhet. ad. Her. III. 22. 37*).

Канджамилла вспоминает фрески X века в монастыре Хрисогона (в старой базилике, на стене правого нефа), написанные на темы «Диалогов» Св. Григория Великого. Одна из них

⁴³ Иль Агамемнона сын, Орест, виденьями мучим, / С факелом видя в руках и с черными змеями мать, / Он убегает, а мстящие Диры сели на праге (пер. В. Я. Брюсова). *Примеч. ред.*

⁴⁴ *Scaenis agitatus famosus, celebratus tragoediis. Et 'agitatus', quia et furuit, et multae sunt de eo tragoediae: quasi frequenter actus* (*Serv. Aen. IV. 471*).

изображает, как ученик Св. Бенедикта, Мавр, спасает другого его ученика, Плацида (Dial. II. 7). Плацид, пошедший к озеру за водой, уронил сосуд и сам свалился за ним; вода понесла его; Мавр, отправленный наставником на помощь, добежал до Плацида, ухватил его и вытащил на берег, потом только заметив, что проделал свой путь по воде. Фреска разделена на две половины: на одной Св. Бенедикт сидит на скамье в келье, а подле него другой монах; на второй Мавр спасает Плацида, причем изображена и милоть Св. Бенедикта, которую упомянул спасенный отрок, решив спор о том, кто же его спас: «Когда тащили меня из воды, я видел над своей головой милоть аббата; видел и самого его, поднимающего меня из вод»⁴⁵.

Было бы самонадеянно, говорит Канджамилла, хотя бы отчасти усматривать в этой фреске ответ на историю монаха Леонтия, однако можно заметить, что она порождена теми же мыслями, какие, можно полагать, занимали Леонтия, когда он был не один и не вдвоем: какие средства спасения видит тонущий человек, когда он может надеяться лишь на себя, то есть ни на что не может. Почтенные авторы риторических пособий, вероятно, пришли бы в ужас при виде того, для какой надобности Леонтий использует их наставления в искусстве памяти; находить утешение в том, что у него оставались еще рациональные средства, применимые к его положению, довольно трудно; он оборонял свою грудь щитом, сделанным человеческими руками, потому что небесный щит Паллады был для него потерян.

⁴⁵ Sed in hac mutuae humilitatis amica contentione accessit arbiter puer qui ereptus est; nam dicebat: Ego cum ex aqua traherer, super caput meum melotem abbatis videbam, atque ipsum me ex aquis educere considerabam.

Римский папа

Николаю Караеву

Если в моем саду умрет римский папа, мой сад станет местом паломничеств. Мой покой будут ежеминутно нарушать люди, которые не умеют уважать своего одиночества – раз уж они пустились в это путешествие – и, конечно, не станут церемониться с чужим. Бесконечные посетители станут расспрашивать меня, что сказал папа перед смертью, кого из кардиналов благословил последним и какие сделал пророчества. Нельзя будет выйти за дверь, чтобы не натолкнуться на кого-нибудь. Они будут обламывать ветки с моих яблонь, чтобы унести их и по возвращении всунуть за рамку какой-нибудь фотографии. Вещи, которые касаются меня одного, станут предметом их неприязненного любопытства. Они будут передавать ветку из рук в руки и говорить друг другу: «Посмотри, какой у этого человека лишайник на ветвях. Разве можно так запускать хозяйство? Я уверен, если мы вернемся туда в апреле, у него будет еще и парша на листьях».

Положим, это чужие; но мои земляки тоже не останутся. Один мой сосед славится искусством отпаривать и срезать мозоли. Однажды по долгом раздумье, начинавшем уже тревожить его домочадцев, он объявил, что намерен предложить услуги роте папских зуавов: они были общительны и завязали у нас много знакомств. Он представил доводом, что в здоровье солдата нет мелочей, если вообще считать мелочью такую вещь, как мозоли; что отношения, в каких папские зуавы стоят к ватиканской статистической службе, апостольскому архиву и дикастерии по канонизации, требуют от них не только постоянной физической исправности, но и известного духовного внимания, которого трудно ждать от работников, вынужденных отвлекаться на свои мозоли; что если вообще верно суждение, что присутствие умаляет славу, то папская курия, находясь в путешествии, рискует много потерять в глазах людей, сталкивающихся с ее служащими не в ватиканских галереях, а на съемных квартирах и в зеленой лавке, а солдат, хромающий или перематывающий ступню тряпицей, пошатнет влияние апостольского престола; что начальство, которое требует от человека неукоснительной службы, не умея позаботиться о его состоянии, не пробудит в нем ничего, кроме досады, а если начальство это духовное, то враждебность подчиненных, незамечаемая и неисцеляемая вовремя, может распространиться на священные предметы в целом; что, с другой стороны, он может не только расширить свою клиентуру, но и, если искусность его понравится, составить в папских служащих выгодное мнение о нашей деревне и ее способности исполнять серьезные задачи; что если бы дело касалось его одного, он не стал бы столько усердствовать, но так как дело идет о репутации деревни, он считает себя в известной мере обязанным об этом позаботиться. На другой день он отправился со своим предложением в ту улицу, где расквартированы папские зуавы. Он шел, что-то напевая, и остановился, когда увидел одного молодого зуава, который, куря трубку, глядел из растворенного окна, как два щегла качаются на красных цветах. Мой сосед посмотрел на это минуту, а потом развернулся и пошел домой. Там он объяснил, что по дороге имел время разобраться в своих мыслях и «отсечь», по его выражению, «все случайное»; и когда он отсекал все случайное и заглянул в себя, насколько возможно, то понял, что главным его побуждением, когда он решил навязаться папским зуавам, было тщеславие: и когда он это понял, то немедленно повернул назад, потому что это не та среда, в которой стоит искать известности. У домашних он пользуется непререкаемым авторитетом, так что ни первое его решение, ни второе не вызвали недоумений. Если же его спросить, что он думает о моем поведении во всей этой истории с папой, он уж наверное меня осудит; что у него найдутся доводы, нельзя и сомневаться; он считает, что его разум способен восполнить и нехватку наблюдений. Между тем я всегда был с ним вежлив и немало заботился, чтобы у него не было

причин жалеть о нашем соседстве. Что ему до меня? Зачем ему иметь обо мне какое-то мнение? Я не могу не выходить из дома вечно, а значит, мне придется с ним встретиться; если до меня дойдет, как он обо мне отзывается, – а этого избежать трудно, – должен ли я делать вид, что не знаю об этом? Это хоть и унинительно, но проще всего другого.

Мало от кого можно ждать сочувствия; лучше не наводить людей на разговор об этом. Один мой знакомый особую важность придает своим мнениям о вещах и главным образом той строгой дисциплине, с какой выводит свои суждения и позволяет себе согласиться с ними. Однажды он пришел в кафе «Валентин» в тот момент, когда там завтракали советники библейской комиссии. Сперва мой знакомый читал свежие газеты, по-видимому не намереваясь никого занимать собой, но потом, резко сложив их и обратившись к советнику, сидевшему за соседним столиком, сказал, что это с их стороны уже слишком. Советник озабоченно спросил, что такое случилось. Мой знакомый отвечал, что ничего нового и что он имеет в виду не их содержание, но не покидающее его ощущение, что они вообще говорят не то, что подразумевают. Советник спросил, не хочет ли он сказать, что газеты полны глубокой иронии. Мой знакомый сказал, что ирония, как ему кажется, обыкновенно отличает людей, чья жизнь не во всех отношениях можно назвать безукоризненной. Советник не согласился. Он сказал, что мог бы перечислить многих, лично ему знакомых, кто, прожив долгую и разнообразную жизнь, пользуется общим уважением и за всем тем прибегает к иронии весьма часто, в том числе по должности; что, кроме того, есть множество всемирно известных писателей, чьи книги, безусловно рекомендуемые для чтения в школах и семинариях, отмечены самым высоким христианским духом и одновременно проникнуты той ясной и несколько удивленной иронией, которую в них особенно ценят знатоки; что если бы не ждала его служба, он полнее бы высказался в защиту иронии, терпящей в последнее время незаслуженные нападки, но он надеется, что собеседник понял его мысль и в этой краткой и недостаточной форме. Мой знакомый отвечал, что знал о таких писателях, но никак не думал, чтобы их было множество; во всяком случае, он имел в виду не иронию, свойственную газетам в большей или меньшей мере, а тот очевидный для него факт, что в них выработан условный язык и приемы, которыми они пользуются, словно не желая или не имея возможности говорить прямо. Советник спросил, из чего ему это очевидно. Мой знакомый вдался в объяснения. – Он не хочет сказать, что газеты от первой до последней страницы изъясняются аллегориями. Например, в отношении уголовной хроники он почти не сомневается, что она сочинена в буквальном смысле и что ее надо понимать именно так, как она написана. Более того, не исключено, что в ней вообще нет никакого смысла и что единственную причину ее существования нужно усматривать в том трудно удерживаемом мускульном томлении, с каким подростки смотрят кино о погонях. То же самое он склонен думать и о юмористических разделах: именно, что в них есть только тот смысл, который представляется взгляду: и пусть даже скудость их умственной обстановки, напоминающая о дешевых меблированных комнатах, понуждает желать, чтобы в них находилось что-то еще, однако такое желание – еще не повод отнимать у невинности этих разделов привилегию единственного их достоинства. Объявления и некрологи должны бы, кажется, вызывать подозрения по одному тому, что в них удобно объясняться намеками, однако все, что может твориться в этих разделах, в худшем случае составляет материал для уголовной хроники, будучи слишком незначительно, чтобы останавливать на себе взгляд. Главное – политические статьи. Чем больше он о них думает, тем серьезнее выглядит дело. Он не может думать, что площадной тон, в каком их авторы отзываются о том, что, по-видимому, считают знаменьями близкой катастрофы, и, напротив, темнота и выпренность выражений, относящихся к явному вздору; внезапность выводов, не вытекающих из предлагаемых наблюдений и соображений; сравнения, выдаваемые за аргументы; младенческое неумение выбрать из обширного числа представляющихся риторических средств те, которые сколько-нибудь подходят к делу, и заносчивое упорство в каком-нибудь случайном приеме, очевидно пагубном для намерений журналиста, – все это он никак

не может счесть признаком коллективного скудоумия, ибо такой вывод, хотя и привлекательный своей легкостью, был бы оскорблением для людей, несомненно образованных, умных и располагающих в своей сфере самым разнообразным и прихотливым опытом. Следственно, нельзя видеть в этом ошибку, а надо видеть намерение. Теперь он задается вопросом, в чем заключается это намерение. Ему представляется, что все эти несообразности, допускаемые в газетах намеренно и в таком количестве, что только слепой и безумный способен их не заметить, имеют некий педагогический смысл – да, именно педагогический. Они призваны растревожить воображение человека, изо дня в день смущаемого этим неопытным хаосом, отвлечь его мысль от гула войн, тревоги бирж, паденья кабинетов и приучить к условному языку, избегающему прямо называть свой предмет. Многие ли этого достигнут? Нет, конечно. Все понимают по-разному; трудность этого языка станет преградой для одних, как ее преодоление – наградой для других. Газета никому не навязывает себя, но говорит с понимающим, а мнение тех, кто считает ее ярмарочным плясуном, ее не оскорбляет. Тех же, кто войдет в ее смысл, она начнет учить самым интересным и, можно сказать, удивительным вещам. Советник, слушавший очень внимательно, спросил, каким именно. Мой знакомец пошевелился и отвечал, что пока не вполне понимает. Последовало некоторое молчание. Советник отложил салфетку и сказал, что никогда не смотрел на вещи с этой стороны; это напомнило ему одну сцену, виденную им много лет назад; он надеется, что его собеседник не сочтет его рассказ не идущим к делу. В тот день он сидел в кофейне у окна, вот как сейчас, и смотрел на противоположную сторону узкой улицы, где какой-то неизвестный ему человек вывозил свои пожитки. Среди прочего там было большое зеркало в старом вкусе; бронзовая рама его была составлена из обнаженных женщин, ухватывавшихся одна за другую и свивавшихся во что-то вроде гирлянды. Женщины были крепкие («сельского сложения», как сказал советник), и художник обнаружил много изобретательности в переходе от одной кривизны к другой. Возможно, сказал советник, владелец этого зеркала давал деньги под залог вещей и не все бывали выкупаемы; возможно, он так привык к этому зеркалу, что не обращал на него долгого внимания; возможно, он дорожил этим зеркалом, потому что с ним связаны были какие-нибудь воспоминания; на одном бедре виднелась длинная царапина, которая сама по себе могла быть воспоминанием; возможно, он в самом деле считал его красивым и не хотел его покидать, потому что оно сообщало блеск и оригинальность его квартире, – повторю, что не имею никакого сведения о владельце этой обстановки; как бы там ни было, он решил забрать с собою это зеркало в новое жилье и вынес его на люди. Пока перевозчики занимались другими вещами, зеркало стояло, прислоненное к какому-то комоду, и встречало каждого, кто проходил мимо. Советник сказал, что провел некоторое время, следя за лицами прохожих, наталкивавшихся на это зеркало; в ту пору он не состоял на папской службе и мог позволить себе наблюдения, каких теперь, наверное, избегал бы. На этом он просит его простить; он уже пятнадцать минут как должен быть в комиссии, а там сегодня рассматриваются вопросы, в которых его участие необходимо. – Мой знакомый ушел из кафе чрезвычайно довольным. Не успел он, однако, добраться до дому, как с размаху ударил себя по коленке, и лицо его омрачилось. Анекдот, рассказанный советником и показавшийся поначалу одобрением его мнений о периодической печати, вдруг представился ему совершенно в ином свете. Там, где он видел историю о прохожих, разнообразно отзывающихся на одно и то же зрелище – тех, кто отворачивался от зеркала, тех, кто разглядывал раму, тех, кто смотрел на себя, – теперь предстала пред ним череда лиц, вне зависимости от своей щекотливости, бесстыдства или деловитости усматривавших в зеркале одно и то же, именно комическое простодушие его владельца, не затруднившегося вынести свои домашние вкусы и пристрастия в уличную толчею. От стыда он не знал, чем себя отвлечь, а придя домой, дал волю досаде, понося самого себя в крайних выражениях. К советнику он, однако же, не питал неприязни, находя его поведение естественным для воспитанного человека, который избегает без особенной нужды оскорблять случайного собеседника; но одна мысль о кафе «Валентин»

поднимала в нем такое раздражение, что много месяцев, когда уже давно не было никакого риска вновь столкнуться с этим человеком, он избегал туда заходить, хотя там отличный кофе с корицей.

Я спрашиваю себя, как могут уживаться добросовестность разума с самодовольством, не препятствуя одно другому. Моралисты любят изображать людей, подверженных одновременно противоположным порокам, каковы, например, алчность и расточительство; пусть это занимательная картина, но не исследование того, как мирятся неприязненные силы. Если этого человека спросят в обществе, где соберутся двое-трое приличных людей, как он смотрит на мое поведение во всей этой истории с папой, что он скажет? Возможно, даже станет на мою сторону, но и в лице его, и в самом голосе заметно будет, что ему многое приходится делать ради дружбы, среди прочего и высказываться слишком определенно о вопросах, еще сомнительных. А ведь всю эту историю я рассказал ему сам, причем не ища выгоды для себя, но указав и на обстоятельства, способные меня компрометировать; но для него мое свидетельство — одно из многих, а он еще не выслушал все. Я хотел бы спросить его, не тяготится ли он нашим знакомством, но не хочу затруднять, потому что наш язык еще не имеет выработанных форм для учтивости в неблагодарных ситуациях.

С соображениями приличия, конечно, труднее всего. Мой кузен служит счетоводом; у него есть сын, только что кончивший школу, которого он хотел бы устроить ассистентом учителя химии, но не знает, кого об этом просить, хотя уверен, что без важного покровительства таких вещей не добиваются. Ему пришло на мысль искать содействия ватиканских апостольских библиотекарей, квартировавших в соседнем доме. Они знали его и приняли любезно. Мой кузен принес с собой альбом с фотокарточками и стал показывать свою семью в трогательных обстоятельствах, чтобы вызвать симпатию. Апостольские библиотекари смотрели на фотографии и делали приличные вопросы, но когда кузен, собравшись с духом, изложил им цель прихода, сказали, что, к сожалению, у них нет способа влиять на замещение вакансий в школах и что они столь чужды всему, происходящему вне стен библиотеки, что затрудняются сказать, куда ему стоило бы обратиться за помощью. Кузен, убежденный, что показываемые с пояснениями фотокарточки окажут немедленное действие, никак не мог поверить, что ему отказали, и понять, что ему надо встать и уйти. Он еще листал альбом, уйдя далеко за середину и рассеянно глядя на самого себя в обстоятельствах, никому не интересных. Его жизнь представляла ему в бессвязных картинках, словно город, куда случайный путешественник угодит ночью и потом может вспомнить только, что там был какой-то светящийся фиолетовый слон. Библиотекари, сперва стыдясь быть невежливыми, начали раздражаться от собственного стыда, понуждаемые глядеть на засвеченную фотографию, на которой кузен в соломенной шляпе скупно выделялся из смертной белизны фона. От досады им пришло в голову теперь же сесть за карты. У апостольских библиотекарей для таких случаев есть особенная карточная игра. Она отчасти напоминает вист, с той разницей, что посреди партии раскладываются карты на ее будущее; есть и другие отличия. Называется она Зоровавель. Правила ее, утвержденные Службой литургических церемоний, очень сложны; старые библиотекари, состоящие в штате двадцать пять и более лет, могут исчислить две или три партии Зоровавеля, которые на их памяти были доведены до конца. Важное удобство этой игры состоит в том, что в нее могут играть двое. Библиотекари, раздосадованные нежеланием моего кузена держаться правил приличия, сели играть в Зоровавеля, не обращая уже внимания на гостя, еще глядевшего в альбом, словно оттуда могла прийти ему помощь. Существенная особенность игры в Зоровавеля состоит в той важности, какая придается поведению игроков, в особенности жестикуляции. Многие из игроков в Зоровавеля берут уроки у актеров старой патетической школы, которая поэтому очень ценится у апостольских библиотекарей, и с таким прилежанием, что человек, не посвященный в условия этой игры, примет ее скорее за драматическую сцену, которую актеры из профессионального щегольства разыгрывают сидя. Библиотекари из этого дома были игроки

весьма искусные; если бы мой кузен умел опомниться, представившееся ему зрелище – ибо, начав игру из одного раздражения, библиотекари, как всегда бывает, увлеклись и позабыли о посторонних – многое рассказало бы ему о человеческих страстях; однако он в этот миг не был способен на незаинтересованное наслаждение и словно не замечал откровенной неучтивости. Вдруг, спохватившись, он хлопнул рукой по альбому с восклицанием, пробудившим библиотекарей, которые, вовлекшись в редкую и сложную комбинацию, именуемую «персидским судом», не тотчас вспомнили, где они и чем занимаются; их глаза вновь блеснули неприязнью; кузен, улыбаясь принужденной улыбкой, объявил, что принес с собой флейту-пикколо, на которой учился в юности, и что если апостольские библиотекари не против, он им сыграет. Он поднес ее к губам и еще издал несколько звуков, какие слышатся иногда в мокром ночном лесу, прежде чем библиотекари, разом поднявшись от карт, сказали ему, что время позднее, что его ждут дома, что им пора читать молитву об умягчении сердец и ложиться спать. Они подхватили его под мышки и понесли к двери, когда из его альбома просыпались фотокарточки и веером разлетелись по комнате. Кузен был совершенно раздавлен. Апостольские библиотекари сидели недвижно и молча, пока из-под стола, стульев и дивана доносились его задыхающиеся извинения. Наконец он соскреб все и ушел с паутиной на ухе. Еще некоторое время они молчали, а потом один из библиотекарей, кивая на карты, спросил, будут они доигрывать или нет. Второй поглядел на него так, что первый, не зная, выражение ли это из игры или из быта, был в некоторой тревоге; однако второй успокоился и сказал, отчего же не доиграть. Только они уселись и вновь вошли в «персидский суд», как осторожный стук в дверь возвестил, что они еще не так располагают своим временем, как им хотелось. Вернувшийся кузен, запинаясь и извиняясь, сказал, что забыл у них флейту, она, верно, куда-то закатилась. Библиотекари молча его впустили и минут десять ждали, пока он искал флейты, не упуская и таких мест, о которых люди, лишённые воображения, не могли бы подумать. Когда он в очередной раз пробормотал: «Это просто удивительно, все-таки двенадцать с половиной дюймов», они его выгнали, с остервенением погасили свет и легли спать. Кроткий сон, одолевший птиц на ветвях и зверей в норе, спустился на их веки, но тут посреди ночной тиши возник и возвысился длинный, печальный свист. Последнее из скудных средств, которыми мой кузен надеялся завоевать их благосклонность, флейта-пикколо где-то в темноте начала насвистывать сама собою. Библиотекари лежали молча. «Я тебе говорил, что тут сквозняки, – сказал наконец один. – В дудку задувает». Они поднялись, зажгли свет и пошли искать дудку. Она молчала. Всюду были следы искавшего ее кузена, но не она сама. Библиотекари выныривали в разных концах комнаты, глядя друг на друга с отвращением. Все было тщетно. Они вновь улеглись. «Это удивительно, – сказал один. – Все-таки двенадцать...» Другой наудачу ударил в темноту. Только они задремывали, одинокая дудка будила их своей нищей, безжалостной песнью. Это тянулось до утра, а утром они встали с больной головой и пошли на службу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.